

Андрей  
Ренников

# ПОТОМУ И СИДИМ

*Фельетоны и очерки*

Andrei Renikov  
Paris

Андрей Ренников  
**Потому и сидим (сборник)**

«Алетейя»

1920-1955

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Ренников А. М.**

Потому и сидим (сборник) / А. М. Ренников — «Алетейя»,  
1920-1955

ISBN 978-5-907115-05-7

Впервые для отечественного читателя собраны фельетоны и очерки Андрея Митрофановича Ренникова (настоящая фамилия Селитренников; 1882–1957), написанные в эмиграции. Талантливый писатель и журналист, широко популярный еще в дореволюционной России, одним из немногих он сумел с уникальным чувством юмора и доброжелательностью отразить беженский быт, вынужденное погружение в иностранную стихию, ностальгию.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-907115-05-7

© Ренников А. М., 1920-1955

© Алетейя, 1920-1955

## Содержание

А. Г. Власенко, М. Г. Талалай	7
Софийские ночи	13
Его памяти	15
Новые классы	17
Беженское счастье...	20
На кладбище	22
Покинутая земля...	26
Omnia mea mecum porto[19]	27
Беженская философия	29
Гимназист ширяев	31
Беженец переезжает	34
Драгоценные свойства	44
На выставке	46
Вокруг света	48
Нужно устранить причину	52
Под землей	54
Из православного катехизиса	57
Детское чтение	58
Монолит	60
Жаннет	62
Лэ нуво повр[69]	64
К познанию России	66
В гостях у варвара	68
Лёня	71
География Европы	73
Европа	74
Мысли и взгляды	76
Уездный город Париж	78
О любви к отечеству	80
Ира	85
Монтаржи	87
Новые конквистадоры	90
Земля, земля...	92
Самовар	96
Влюбленный Париж	99
Урок географии	101
Будущие городничии	104
Теория относительности	106
Новый соблазн	108
«Пол и характер»	110
Прежде и теперь	112
Чужой лес	114
Les ukres	117
Куроводство	119
Эмигрантские праздники	121
Кухарка	123

Митины афоризмы и сентенции	125
Из мира неясного	128
Преступление и наказание	132
Игра природы	134
Рассадники просвещения	137
На Лазурном берегу	139
1. Как это случилось	139
2. Как спать в вагоне третьего класса. – Лионский кредит. – Авиньонский акробат. – Тартарен из Тараскона	142
3. Побережье. – Теория относительности в применении к красотам природы. – Марэ Нострум	144
4. Как русские живут и работают	146
5. Монако. – Гнездо революционеров. – Язык пушек	148
На земле	150
На пляже	152
Откуда все качества	154
Накануне	157
Конфор-модерн	159
Памяти Мулен-Руж	162
Ежевика	164
Конец ознакомительного фрагмента.	165

**Андрей Митрофанович Ренников**  
**Потому и сидим**  
*Фельетоны и очерки*

© А. Г. Власенко, М. Г. Талалай, статья, составление, научная редакция,  
2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

## **А. Г. Власенко, М. Г. Талалай** **«Маленький фельетон» длинною в жизнь**

Андрей Митрофанович Ренников (настоящая фамилия Селитренников) родился 14 ноября ст. ст. 1882 г. в Кутаиси в семье присяжного поверенного. Детство провел в Тифлисе, там же учился в Первой классической гимназии, занимался музыкой и даже участвовал в гимназическом симфоническом оркестре в качестве одной из первых скрипок<sup>1</sup>. После гимназии поступил в Новороссийский университет (Одесса), где окончил физико-математический и историко-филологический факультеты, получив золотую медаль за сочинение «Система философии В. Вундта». Был оставлен при университете на кафедре философии. Совмещал преподавательскую деятельность с журналистской в газете «Одесский листок».

В 1912 г. будущий писатель переехал в Петербург, где стал сотрудником и редактором отдела «Внутренние новости» газеты «Новое время», издаваемой знаменитым А. С. Сувориным, а позднее его сыном – М. А. Сувориным. Под вновь избранным псевдонимом «Ренников» регулярно печатал в газете рассказы и очерки, а также так называемые «маленькие фельетоны» (в этой рубрике публиковались многие известные авторы, например, В. В. Розанов)<sup>2</sup>. Одновременно трудился главным редактором еженедельного литературно-художественного и сатирического журнала «Лукоморье» (СПб., 1914–1916), издателем которого также являлся М. А. Суворин.

С 1912 г. стали выходить одна за другой крупные публикации Ренникова: сатирические романы «Сеятели вечного», «Тихая заводь» и «Раздаться, человек»; очерки «Самостийные украинцы», «Золото Рейна» и «В стране чудес: правда о прибалтийских немцах»; сборники рассказов «Лунная дорога» и «Спириты». Автор быстро стал известен всей читающей России, но поскольку он работал в газете «Новое время», отличавшейся консервативными взглядами, его замалчивала либеральная пресса, как в предреволюционной России, так и впоследствии за рубежом.

Известный журналист и литературовед, одно время возглавлявший парижский журнал «Возрождение» Г. А. Мейер, так писал об этом в своей работе «Возрождение» и белая идея:

Андрей Митрофанович Ренников, один из коренных и самых видных сотрудников «Возрождения», хотя и был известен всей читающей России, но по достоинству до сих пор все еще не оценен. Виною тому, как это ни дико звучит, его участие в лучшей, самой культурной российской газете – «Новое Время». Этого сотрудничества русские литераторы «интеллигентского» склада не прощали своим собратьям по перу. На имя Ренникова революционно настроенными русскими кругами был наложен запрет. Можно сказать, что его, как писателя и журналиста, очень любила широкая публика и всегда ненавидела либеральная русская пресса. Именно этим объясняется, что, при большой известности, Ренников был обойден так называемой критикой<sup>3</sup>.

Февральскую революцию и позднее захват власти большевиками Ренников воспринял как трагедию, и уехал из Петербурга. В годы Гражданской войны вместе с группой сотрудников газеты «Новое время» работал в Ростове-на-Дону редактором газеты «Заря России», которая

<sup>1</sup> Подробно годы учебы в гимназии были описаны писателем в серии очерков «Гимназические воспоминания» («Возрождение», Париж, 1955–1956, № 47, 49, 50 и 52).

<sup>2</sup> В 1915 г. литератор помог И. Л. Солоневичу (впоследствии крупнейшему публицисту, общественному деятелю и писателю, создателю и идеологу «Народно-монархического движения») устроиться сотрудником «Нового времени».

<sup>3</sup> Мейер Г. А. «Возрождение» и белая идея // Возрождение, Париж, авг. 1955, № 44. С. 103–105.

поддерживала Добровольческую армию. Был сотрудником Отдела пропаганды при правительстве Вооруженных сил Юга России (ОСВАГ). В марте 1920 г. он выехал из Новороссийска через Варну в Белград, где одно время работал секретарем русского уполномоченного при Югославском правительстве С. Н. Палеолога, а затем помогал М. А. Суворину в организации и издании газеты «Новое время», которая выходила в 1921–1926 гг. Позднее, Ренников описал события того периода в обстоятельном очерке «Первые годы в эмиграции»<sup>4</sup>.

В 1922 г. вышла первая пьеса Ренникова, «Тамо далеко», посвященная жизни русских эмигрантов в Белграде. В 1925 г. в Софии были изданы пьеса «Галлиполи» и комедия «Беженцы всех стран». Пьеса «Борис и Глеб» увидела свет в 1934 г. в Харбине. Его драмы пользовались успехом и ставились на сценах русских театров в Сербии, Болгарии, Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии, Китае, США и Австралии. В эти годы он печатался также в газетах «Вечернее время», «Галлиполи», «Заря» и др.

Одновременно Ренников писал много прозы. В Белграде вышли фантастический роман «Диктатор мира» (1925), а также первые два романа трилогии о жизни русских эмигрантов, объединенные общими персонажами: «Души живые» (1925) и «За тридцать земель» (1926).

Критик из варшавской газеты «За свободу» так написала о первом из них: «Вообще, в романе много такого, от чего больно сжимается сердце, и что невольно вызывает грустную и добрую улыбку... Соотечественники, одним словом – и не худшие из них.»<sup>5</sup>

В 1926 г. писатель переехал в Париж, став постоянным сотрудником газеты «Возрождение», где по 1940 г. регулярно выступал в рубрике «Маленький фельетон», печатал рассказы и очерки о жизни русских эмигрантов, отрывки из новых произведений. Печатался также в парижской газете «Русский инвалид».

В 1929 г. в Париже вышел сборник рассказов «Незванные варяги», в 1930 – завершающий роман трилогии о русских беженцах «Жизнь играет», а в 1931 – сборник пьес «Комедии»<sup>6</sup>. В 1937 г. появился детективный роман «Зеленые дьяволы».

Во время Второй мировой войны и после нее Андрей Митрофанович жил на юге Франции, в Ницце, печатался в газете «Парижский вестник» и в журнале «Возрождение» (Париж). Кроме того, он сотрудничал в газетах «Россия» (Нью-Йорк), «Православная Русь» (Джорданвилль, США) и «Русская мысль» (Париж). В 1952 г. вышел новый роман «Кавказская рапсодия».

В 1953 г. в Ницце и других городах Европы русская эмиграция торжественно отметила 50-летний юбилей литературной деятельности Ренникова. Во Франции, Англии, США и других странах прошли торжественные собрания, многие театры русской эмиграции поставили его пьесы.

Издатель и редактор нью-йоркской газеты «Россия» Н. П. Рыбаков так писал в своей статье к юбилею А. М. Ренникова:

...мы видим, что богато данные ему Всевышним таланты он не только не растратил, но, следуя евангельским заветам, мудро их преумножил. И ныне, пройдя долгий и духовно богатый жизненный путь, наш высокопочтенный Юбиляр, как светоч, ярко сияет живительным светом правды, добра и истины с высоты своей жизненной свечницы.

От лица русских людей, объединенных вокруг газеты и журнала «Россия», от редакции и от себя лично от души приветствуем со славным Пятидесятилетним Юбилеем литературной деятельности дорогого Андрея

<sup>4</sup> «Возрождение», Париж, 1957, № 62–64.

<sup>5</sup> Журавская З. Н. А. Ренников. «Души живые» [рецензия] // За свободу, Варшава, 20 июля 1925, № 1593. С. 3.

<sup>6</sup> Пьесы «Сказка жизни», «Пестрая семья», «Чертова карусель», а также одноактные пьесы «Золотая работница», «Брак по расчету», «Жених» и «Встреча».

Митрофановича и от души желаем ему счастья, благополучия, полного успеха, долгих лет здравствовать и творить на благо России и Русского Народа<sup>7</sup>.

Митрополит Анастасий (Грибановский), первоиерарх РЦПЗ, в переписке с А. М. Ренниковым утверждал, что в его произведениях находит много созвучного своим собственным мыслям:

Я, к сожалению, не знаком до сих пор с Вами лично, но часто беседую с Вами через Ваши печатные произведения, в которых нахожу много созвучного моим собственным мыслям. Это и внушило мне решимость послать Вам сборник моих произведений, издание которого приурочено к недавнему 50-летнему юбилею моего служения в священном сане.

Мне хотелось бы думать, что Вы в свою очередь найдете в нем, особенно в «Беседах с собственным сердцем» нечто сходное Вашим собственным думам и настроениям. Теперь, когда всюду дышит дух вражды и разделения, мы особенно близко чувствуем тех, кто единомышленны с нами.

Мне давно известно также, что Вы являетесь убежденным сторонником Соборной Церкви, считая ее носительницей истинного православного мировоззрения и канонической правды. Это, конечно, должно еще теснее соединить нас духовно с Вами.

Призывая на Вас благословение Всевышнего, с глубоким почтением остаюсь Вашим усердным доброжелателем<sup>8</sup>.

Публицист Алексей Жерби (Людвиг Горб) вспоминал в некрологе, опубликованном в «Русской Мысли»:

Передо мной сидел небольшого роста симпатичный спокойный человек с умными глазами. С ним было приятно вступить в разговор. При этом он обнаружил широкий диапазон знаний, без всякого пафоса говорил о самых различных проблемах.

Это был мягкий, сердечный человек, прямой, искренний, с твердыми взглядами. В одном мы с ним сходились – в ненависти к большевикам.

Но к нему привлекала не эта черта, свойственная всем русским за рубежом, нет, у него было нечто свое. Прежде всего поражала его прирожденная скромность, отсутствие чванства, желания переспорить, вдаваться в простую брань, даже когда шла речь о заведомых негодяях<sup>9</sup>.

Так писали о нем другие (см. также Приложение в данному сборнику). Сам же А. М. Ренников, когда тогдашний редактор журнала «Возрождение» (Париж) Г. А. Мейер попросил его сообщить для включения в юбилейную статью о журнале свои автобиографические сведения, прислал очередной «маленький фельетон», на этот раз – о себе самом (и Г. А. Мейер включил его в свою статью целиком):

Своим предложением сообщить Вам кое-какие данные о моей прошлой деятельности Вы ставите меня в очень затруднительное положение. Прежде всего, я не уверен, была ли у меня вообще какая-нибудь деятельность. Во всяком случае я ясно помню, что в Петербурге, когда я работал в «Новом

---

<sup>7</sup> Рыбаков Н. П. / Пятидесятилетний юбилей литературной деятельности А. М. Ренникова // Россия (Нью-Йорк), 15 апр. 1953, № 509. С. 2.

<sup>8</sup> Письмо Митрополита Анастасия (Грибановского), первоиерарха Русской Православной Церкви за границей, А. М. Ренникову от 26 фев. 1953 г. (из Бахметевского архива русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета Нью-Йорка). Публикуется впервые.

<sup>9</sup> Жерби А. Памяти А. М. Ренникова // Русская мысль, Париж, 17 дек. 1957. С. 5.

Времени», служившая у нас горничная – на вопрос любопытных соседей по дому: – «чем ваш барин занимается?», – твердо ответила: – «Наш барин ничем не занимается. Он только пишет».

Ну, вот. А затем должен сказать, что я никогда в жизни не писал ни мемуаров, ни «Исповедей», а потому не имею никакого опыта для того, чтобы «Исповедь» вышла искренней. Мне, например, страшно трудно путем самоуничижения возвеличить свою личность, как это мастерски делал Л. Толстой; или обрисовать блеск своих талантов, не хваля себя, а понося за бездарность других, как это делают в своих воспоминаниях некоторые наши бывшие министры или академики.

Скажу о себе кратко только следующее: что я считаю себя в выборе всех профессий, за которые брался, полным неудачником, каковым остаюсь и до последнего времени.

В самом деле. В раннем детстве мечтал я сделаться великим музыкантом, для чего усиленно играл на скрипке и занимался теорией музыки. Но из меня в этой области не вышло ничего, так как я не последовал русской музыкальной традиции: не поступил во флот, как это догадался сделать в свое время Н. А. Римский-Корсаков, не занялся химией, как А. П. Бородин, и не стал профессором фортификации, как Цезарь Кюи.

Бросив музыку, я решил писать детские сказки, на подобие «Кота Мурлыки». Писал их с любовью, со вдохновением. Но из сказок тоже не вышло ничего: автор «Кота Мурлыки» Н. П. Вагнер был профессором зоологии и открыл педогенезис, а я зоологией не занимался и педогенезиса не открыл.

Тогда, смекнув в чем дело, решил я взять быка за рога: намереваясь вместо сказок приняться за серьезную изящную литературу, стал я увлекаться математикой и астрономией, вполне справедливо считая, что, достигнув впоследствии поста директора Пулковской обсерватории и открыв несколько астероидов, я сразу займу одно из первых мест в мировой беллетристике.

Но в моих планах оказался какой-то просчет. Окончив университетский курс, поступил я в обсерваторию, выверял уровни, работал с микрометрическими винтами приборов, сверял хронометры-тринадцатибойщики, а беллетристика моя не двигалась, особенно в области юмора и сатиры. И вот, однажды, читая Чехова, я неожиданно сообразил, в чем дело: чтобы быть юмористом, нужно заниматься вовсе не астрономией, а медициной, судя по карьере Чехова. Ничто так не развивает юмористического отношения к людям, как анатомический театр, фармакология, диагностика и терапия.

Я немедленно бросил астрономию, поступил снова в университет, но, чтобы не вполне подражать Чехову, выбрал себе специальностью философию и остался при университете, лелея мысль, что теперь то как следует продвинусь на верхи литературы, напишу что-нибудь крупное, вроде «Войны и мира», или не напишу ничего крупного, но все-таки сделаюсь академиком.

Прошло некоторое время... Моя «Война и мир» не появлялась. Вместо этого события, Россия всколыхнулась гражданской войной, советским миром... И я побежал, куда все.

Только за границей, подводя итоги крушению своих честолюбивых замыслов, я сообразил, наконец, почему не заменил собою Толстого и даже не попал в академики. Я, оказывается, переучился на двух факультетах. Ведь Толстой не окончил университета, а я кончил. Бунин не окончил гимназии,

а я кончил. Нужно было принимать какие-то спешные меры, чтобы забыть лишнее... И я стал усиленно писать в газетах и заниматься политикой, ибо ничто так хорошо не очищает голову от серьезных сведений, как политическая деятельность.

Что же сказать в заключение? Мечты своей написать «Войну и мир» я, конечно, не оставил. Что выйдет, не знаю. Но до сих пор, стремясь к вершинам искусства, стараюсь я применять испытанные обходные пути. Во флот мне, правда, поступать поздно; идти в профессора химии и зоологии, или изучать фортификацию – тоже. Зато сколько других боковых лазеек за последнее время прошупал я. Крестословицы составлял, башмаки из рафии шил, плюшевые игрушки делал, курятники на фермах чистил, огороды разводил, ночным сторожем был, шить на швейной машинке научился...

Что же? Неужели же я никогда не попаду в точку? Обидно!

И вот единственным утешением в таком случае останется мне Державин. Как известно, старик Державин, заметив всех нас, кому не везет, с утешением сказал: «Река времен в своем движении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если, – успокоительно продолжает старик, – если что и остается от звуков лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы».

Ну, а тогда все равно. Помнят ли тебя после смерти сорок дней, сорок лет, четыреста, или четыре тысячи.

Люди вообще народ забывчивый. Особенно – читатели.

Преданный Вам А. Ренников.

P. S. Когда будете печатать эту мою «Исповедь» («Confessions»), сообщите публике, что я не хотел обнародовать изложенных в ней интимных мыслей, но что между нами по этому поводу произошел жестокий спор, и Вы победили.

Это обычно вызывает усиленный интерес к написанному<sup>10</sup>.

В последние годы Ренникову пришлось многое пережить: смерть жены, потом сестры и племянницы. Пристанищем для него тогда стал дом русских инвалидов в Ницце, где он жил очень скромно, работая вплоть до кончины. В эти годы были написаны пьесы «Перелетные птицы» и «Бурелом», с успехом шедшие в эмигрантских театрах по всему миру, опубликованы книги «Минувшие дни» (1954) и «Моторизованная культура» (1956), а также подготовлен «Дневник будущего человека», оставшийся неопубликованным.

Как свидетельствуют архивные материалы (в частности Бахметьевского фонда в Нью-Йорке), Ренников до последних дней вел обширную переписку: отвечал на письма почитателей и издателей, просивших новых статей, давал разрешения на постановки своих пьес, оговаривал издания книг, высказывал свое мнение о произведениях других авторов, и просто обсуждал новости и самые разные вопросы с друзьями и знакомыми.

Умер писатель 23 ноября 1957 г. в госпитале «Пастер», после продолжительной болезни, так и не дождавшись предписанной ему операции, и был похоронен на местном кладбище «Кокад».

К сожалению, в настоящее время писатель мало известен отечественному читателю, поскольку почти ничего из его обширного наследия на родине опубликовано не было: переизданы в 2013 г. лишь романы «Разденься, человек!» и «Зеленые дьяволы» в издательстве «Престиж Бук», а в 2016 г. в электронном варианте появились роман «Диктатор мира» и небольшая

---

<sup>10</sup> См. Мейер Г. А. Указ. соч.

выборка рассказов из сборника «Незванные варяги» под названием «Вокруг света» (издательство «Salamandra»).

В настоящий сборник вошли избранные «маленькие фельетоны», рассказы и очерки А. М. Ренникова, посвященные повседневной жизни русской эмиграции в различных странах в 20-50-х годах XX века. Тексты, орфография которых приведена к современной, даны согласно хронологии их публикации. Сделаны комментарии и пояснения к тексту, а также в сносках дан перевод фраз и отдельных слов с французского и других языков на русский.

*Андрей Власенко, США*

*Михаил Талалай, Италия июль 2018 г.*

## Софийские ночи

Каждую ночь, поздно, когда смолкает в городе шум, когда площадь Царя-Освободителя перестают пересекать тени прохожих, возле памятника становится на часы неизвестный русский солдат.

Неслышным шагом мерно ходит он вокруг холодного камня. Укутанный в плащ от шипкинской вьюги, надвинув на голову отяжелевший от снега башлык, без глаз зорко следит он, без слуха внимает далеким шорохам. В первых рассветных лучах наклоняет голову Царь.

– Благодарю тебя, брат.

И стучит о кости ружье, слышен голос без звука:

– Я с тобой, Император!

\* \* \*

Из века и век блуждает в мире Иуда. Не принятый раем, изгнанный адом, совершает путь, топча ногами души народов, от звона серебра к звону золота направляет свой слух, веселит себя на пирах, гнет после этого тяжестью тела своего дрожащие ветви. И взор его ищет на земле темные ночи. И находит. И с рассветом тухнет в умирающем теле...

\* \* \*

Первый раз он был здесь ненадолго. Быстро прошла короткая ночь... Но успел Иуда оквернить смехом камень Царя.

– Я поцеловал твоего сына, – сказал радостно он, взлетая над памятником. – Посмотри: сын твой поцелуй принял. И Баттенберг<sup>11</sup> теперь вместе со мной.

– Император, я убью его, – поднял ружье стоявший на часах неизвестный солдат.

– Оставь, – двинул металлом руки Император. – Он повесится сам. Смотри: скоро рассвет... Слышишь, поют петухи... Деревья моего бульвара уже протягивают ветви. Видишь, мой сын? Уже кончилось все. Он висит, бездыханный, в лучах первой зари.

\* \* \*

Второй раз было много ночей. Долгих ночей. Чуть смолкало на площади, садился Иуда на соседнее дерево. Страшными впадинами бескровного черепа слушал неизвестный солдат речи предателя.

– Уходи с пьедестала! – говорил со смехом Иуда. – Или российская лень здесь держит тебя? Или нет у тебя глаз, вместо которых вставили мы два гипсовых камня и подписали внизу: «благодарна Блгария»? Посмотри: вот идут по бульвару полки за полками. Неизвестный солдат! Освобождай теперь нас! Слышишь крики оттуда? «Смерть России!». Солдат! Куда попал тебе янычарский кинжал? Ран я не вижу, болгарская земля их залечила, как видно. Но бьюсь об заклад: наверно ранен ты в голову. Что же, Царь? Ты молчишь? Поцеловать, разве, тебя? А смотри, наши полки не кончаются. Нет. Реют флаги, знамена. Вот, идет артиллерия... Узнаешь наши пушки? А красавцы какие... Молодец к молодцу! Трудно будет теперь мертвецам окружать с тыла их. Что же, Царь? Опускайся! Влез напрасно сюда ты... Посмотри, как красив буду я на твоём старом месте. А внизу будет, кстати, и прекрасная надпись: «благодарна Блгария».

---

<sup>11</sup> Александр Баттенберг (1857–1893) – первый правитель (князь) независимой Болгарии.

– Ты не можешь убить Иуду ружьем, – остановил Император руку солдата. – Подожди до рассвета. Деревьев здесь много. Он повесится сам, как только кончится ночь. Видишь? Смех его стих. Речь бессвязна, глаза исполнены страхом. Подожди, задержись... Не уходи с таким чувством обратно в могилу. Посмотри: он висит уже, видишь, дрожит проклятое тело. А там, по бульвару, идут новые толпы. Оборванные, нищие, бежавшие с родины... Узнаешь наших детей? Стариков, братьев, сестер? Ты не плачешь уже верный брат мой?

– Нет. Я с тобой, Император!

\* \* \*

Ночь настала опять. Продолжается ночь. Снова в жуткой тишине терзает на площади незыблемую память Царя вечный предатель, жадно бегущий от звона серебра к звенящему золоту.

Дрожь проходит по железу и камню. От смеха Иуды качается почва под памятником. Объят ужасом неизвестный солдат, укутанный в плащ от шипкинской вьюги, надвинувший на голову отяжелевший от снега башлык. Без глаз презреньем горит взор, без крови воспламеняется истлевшее сердце. И челюсть стучит, ропща на бесполезную гибель.

На плечо мертвецу опустил Император тяжелую руку. И слышит слова его неизвестный солдат:

– Не ропщи. День придет... Иуда отыщет на дереве свое привычное место. Ты же знай: не для десятка годов, не для одного только века отошел ты в вечную жизнь. Иуда целует и виснет, идет в мире чередой у него за поцелуем – петля. Ты же, мой сын, смертью создал не только счастье тех, которые жалки и, быть может, презренны. В твоей смерти – счастье всех на земле: святой подвиг погибших возвышает их над скотами и гадами. Не ропщи. Иуда не страшен. Ведь тебя, в твоём подвиге, поцеловал и обнял своим ученьем Спаситель.

– Я не ропщу, Император...

*«Новое время», Белград, 21 мая 1922, № 321, с. 1–2.*

## Его памяти

Он явился ко мне в короне незримого света, в тончайшей порфире, сотканной эфирными волнами.

Ночь была вокруг для всех тех, кому радостны дни. Но для нас, утомленных изгнанием, яркий день начинается только с грезами сна.

\* \* \*

Беззвучными шагами он подошел к изголовью. И я увидел его. Та же царственная простота... Та же прекрасная родная улыбка... На бледном лице углубленные страданием любимые серые глаза. И нет в лице морщин печали и гнева. Нет в глазах огня с призывом к отмщению.

– Государь! – говорил я, опустившись к краю священной порфиры. Государь, пять долгих лет нет тебя среди нас. Если Бог взял тебя в свою обитель блаженных, если сонм святых мучеников вместе с тобой славословит Всевышнего у великого трона, если в вечный покой с земли вернулась исстрадавшаяся душа твоя, – да будет так. Я молчу, Государь. Я буду коленопреклоненно стоять в дыму фимиама, я буду затуманенным взором смотреть на колеблющееся пламя заупокойной свечи и на голос печали, взывающий с клироса, и на голос смирения, идущий с амвона, буду тихо шептать вместе с другими оставшимися: «Вечная память... Вечная память...» Но если ты здесь, на земле? Если глаза эти, которые я вижу в призраке ночи, так же живут, как живет в нас память о них? Если есть где-нибудь люди, которые видят улыбку твою, слышат речь, знают все о тебе, каждое движение твое? Государь! Мало радости у нас, в нашем изгнании. Еще меньше радости – на родной стороне. Государь, с каждым днем тучи надвигаются чернее и чернее. Все колеблется, рушится. В смраде и зловонии Европы задыхаемся все мы. Если с Господом ты – да будет воля Господня. Но если с нами, на той земле, где на нас и на тебя смотрит одно и то же горячее солнце, где один и тот же воздух дает тебе и нам жизнь, – откройся! Дай силы и бодрость. Дай счастье. Восстань!

\* \* \*

Ночь была вокруг для всех тех, кому радостны дни. Но для нас, утомленных изгнанием, яркий день начинается только с грезами сна.

И я услышал на свои слова тихий печальный ответ:

– Где живет Государь, которого свергли вы... Где живет Император, которому изменили вы. Где живет Царь, которого могла уничтожить горсть врагов на глазах миллионов равнодушных людей... Не все ли равно? Быть может я там, наверху. Быть может я здесь, среди вас. Дух мой и так вечно с Россией. Любовь моя – и так всегда в родной стране. Но зачем вам тело мое? Чтобы видели глаза смерть наказанных Господом? Чтобы слышали уши поцелуи друзей моих с палачами моими? Чтобы исказилось лицо при виде позора? Нет, открыться не я должен. Пусть откроется народ мой, бежавший бесследно – от меня, от себя, от могил своих предков. Я всюду ищу его, я ищу и не знаю, где он. Где дух его – на земле ли? Или навеки ушел в небытие, оставив внизу непогребенное тело? Не открою я тайны. Коленопреклоненно, как прежде, стойте и теперь с заупокойной свечей, слушайте голос скорби, взывающий с клироса, внимайте голосу смирения, идущему с амвона, и знайте: погребаете вы меня, если я умер; погребаете вы весь ужас, который в душе вашей, если я жив.

Ночь была... И я видел царственную простоту. И печальную родную улыбку. И углубленные страданьем прекрасные глаза, которые никогда, никогда не вернуться.

*«Новое время», Белград, 19 декабря 1922, № 496, с. 1–2.*

## Новые классы

Нет, как ни стараются социалисты уничтожить различие классов, – все бесполезно. Возьмем, хотя бы, русских беженцев в королевстве С. Х. С...<sup>12</sup>

### I.

Прежде всего мы имеем немногочисленную, но избранную русскую аристократию беженского времени. Это нечто рафинированное, *distingué, prude*...<sup>13</sup> Вроде Сироткина. Аристократы наши, благодаря изнеженному образу жизни, обладают нетвердым почерком и несколько неясно пишут орфографически; в их письме всегда чувствуется нечто такое, не то *nonchalant*, не то *majestueux*<sup>14</sup>, когда буквы лезут во все стороны, падают направо, налево, и стремительно рвутся вверх или вниз из строки.

Нечего и говорить, что аристократы прибыли сюда одними из первых. Их нежные нервы, конечно, не могли выдержать ужасов гражданской войны. И здесь, в тиши чужой трудовой жизни, под сенью чужих прочных законов, они молчаливо переносят изгнание, благородно сторонясь всякой общественной деятельности.

Обладая большим тактом по отношению к низшим беженским классами, аристократы стараются не афишировать своего благосостояния, не вызывать среди низов раздражения. Во избежание чувства зависти они никогда не жертвуют на благотворительные цели, никому не дают взаймы, чтобы не обидеть остальных желающих обедать и одеваться. Стараясь деликатно стусеваться в общей массе нуждающихся, наиболее чуткие из них аккуратно раз в месяц являются в комитет получать ссуду и скромно стоят в длинном хвосте, приподняв воротник и застегнув наглухо пальто, чтобы скрыть белоснежное крахмальное белье. Во избежание интриг и злословия, аристократы не держат своих денег в банках: под костюмом, у пояса, вдали от внешнего мира, хранят они пачки английских фунтов в крупных купюрах и здесь, в глубокой впадине между вспученным животом и плоскою грудью, у них образуется и текущий счет, и сейф, и долгосрочные вклады...

Аристократы богомольны и благочестивы. Они каждый день читают «Отче Наш», «Верую», и, по вечерам, сняв с себя вериги валюты, ложатся спать с ясной улыбкой, с теплой молитвою на устах: «Благодарю тебя, Боже, что ты не создал меня беженцем крымской эвакуации!»

### II.

Второй класс русских беженцев – буржуазия. Это английские беженцы, получившие сапоги, плащи, френчи, пижамы и по паре теплых носков. Судьба крайне благоприятствовала буржуям с самого начала создания этого класса. Буржуи знают, что такое варенье «джем», целый год изучали, как пахнет австралийское масло. У них до сих пор остался на заварку английский чай, а галеты, легко разбивающиеся в сырую погоду, дают возможность безбоязненно смотреть вперед на целых полтора месяца.

По внешнему виду буржуазию можно узнать без труда. Если дама идет в солдатском плаще защитного цвета, и на ее зеленой юбке видны швы от старых военных английских брюк,

---

<sup>12</sup> Королевство С. Х. С. – Королевство сербов, хорват и словенцев, название Югославии в 1918–1929 гг.

<sup>13</sup> Выдающееся, чопорное (*фр.*).

<sup>14</sup> Небрежное... величественное (*фр.*).

можно про нее сказать смело: буржуйка. Если седой старичок, опираясь на палку, бредет по улице, и на его ногах светло-желтые обмотки, а на голове шапка летчика, знайте наверняка: буржуй.

Финансовое преимущество буржуев над следующим низшим классом новороссийской и одесской эвакуаций огромно. В то время, как последние получают на одинокого 300 динар, размен буржуя достигает невероятной цифры 400. И отсюда вся разница в быте, в привычках, поведении, отношении к миру. Достаточно сказать, что английский буржуй может жечь керосин до десяти часов вечера, в то время, как одесский ремесленник пугливо тушит лампу уже в половине десятого; буржуй бреется в каждые две недели раз, между тем как новороссийский плотник позволяет себе это всего один раз в три недели. . . К особенностям буржуев нужно отнести их оригинальную привычку жить в дачных местах только зимой и перебираться в душные города на лето; есть в характере многих буржуев также склонность к сепаратизму и непризнанию законных русских властей. Некоторые колонии, вроде Нишской Бани, путем *coup d'état*<sup>15</sup> старались даже захватить власть правительственного уполномоченного в свои руки. Но большая часть буржуазии, все же, настроена мирно. Иногда только, когда нужно подчеркнуть свое отличие от других беженских классов, буржуазия заказывает себе особые печати, на которых вместо слова «беженцы» торжественно значится: «Комитет русских эвакуантов в Сурдулице».

### III.

Что сказать о третьем классе – беженцах новороссийской и одесской эвакуаций. Это *tiers état*<sup>16</sup> нашего беженства, трудящийся люд: писаря министерств С. Х. С., статистические счетчики, разносчики газет, огородники, куроводы, шоферы, приказчики, комиссионеры. . . Не получив на Лемносе сапог и плащей и не испробовав никогда сладости джема, третий класс собственным упорным трудом создал себе средства на ремонт подметок и на новые латки к старым костюмам. Вообще, третий класс энергичен, смышлен и, благодаря частой перемене рода занятий, может участвовать с большой пользой для дела как в плетении корзин, так и в управлении будущим государством. Все ремесленники этого класса грамотны, любознательны, любят политику. И только ужасный непонятный жаргон отделяет их пропастью от высшего класса. Этот жаргон ставит в тупик аристократа, когда он заходит к новороссийскому сапожнику и во время торга о цене на аристократические нижегородские сапоги получает непонятный ответ:

– Заказы, месье, у нас спорадические. А цены должны соответствовать *existent minimum*'у. Ergo – *ça va sans dire*<sup>17</sup>?

### IV.

Четвертый класс – пролетариат: беженцы крымской эвакуации. Это по большей части неприспособленные к жизни наивные люди, которые до сих пор упрямо твердят о том, что у всякого гражданина должен быть перед родиной долг, и приводят этим в негодование аристократов, привыкших не иметь вообще никаких долгов. Душевная неуравновешенность пролетариата и неумение его благоразумно устраивать свою личную жизнь сразу же были оценены по заслугам профессором Плетневым: пролетариям, как низшему классу, назначено на человека по 240 динар. Пролетариат занимается сейчас, главным образом, рубкой леса, прокладкой шоссе, идет к крестьянам в батрачество и, кроме того, обязан прочно сидеть на той улице, на

---

<sup>15</sup> Государственный переворот (*фр.*)

<sup>16</sup> Третье сословие (*фр.*).

<sup>17</sup> Существующий минимум. Следовательно – само собой разумеется (*фр.*).

какую выброшен при высадке на берег. Образ жизни пролетариата суров; отличается тем, что пролетарии обедают, сравнительно с буржуями, на два месяца позже, получая майский размен только в июле. Одевается пролетарий крайне небрежно, иногда только в ночное белье, или, наоборот, только в шинель, без белья. Керосина не имеет совсем, пользуясь исключительно центральным солнечным освещением и отоплением, и бреется не в две недели раз, как лемносский буржуй, и не раз в три недели, как новороссийский ремесленник, а приблизительно только на следующий год. В силу всех этих обстоятельств про пролетариев сложилась в последнее время поговорка: «гол, как крымский беженец». И действительно, если бы не существовало счастливого населения коммунистического рая советской России, пролетария крымской эвакуации можно безошибочно было бы назвать самым голым существом в мире.

*«Новое время», Белград, 21 июля 1921, № 71, с. 2.*

## Беженское счастье...

Русские беженцы в Югославии начинают входить во вкус местной государственной лотереи, «классной лутрии». Почти у каждого из нас есть четвертушка билета, почти все мы, в количестве свыше тридцати тысяч человек, претенденты на выигрыш четверти 600 тысяч динар.

И вот кажется теперь ни одной русской семьи, в которой не был бы солидно разработан план расходования 150 тысяч динар, и не были бы предусмотрены все хозяйственные мелочи, вплоть до покупки зубной пасты.

Я играл в «лутрию» два года назад, когда был еще молодым неопытным беженцем. Сто пятьдесят тысяч могли безусловно сослужить мне тогда отличную службу; огород, который я разводил в одной сербской деревне, не только не желал превосходить все мои ожидания, но играл мною, как хотел, буйно поднимая к небу ромашку и цикорий там, где с математической точностью должна была взойти редиска. У меня было не четверть билета: я купил целый, на 48 динар, чтобы не волноваться по пустякам. И перед днем главного выигрыша по вечерам у меня в крестьянском домике до поздней ночи горел свет, шуршал по бумаге карандаш, и я писал:

«Баланс:

Приход – 600 тысяч.

Расход:

Отступного за огородную землю Живке Павловичу – 1500.

Переезд в Белград в вагоне международного общества спальных вагонов – 300.

Ужин в вагоне-ресторане – 250.

На жизнь на 5 лет по 60 тыс. в год – 300.000.

Одежда: подметки на старые башмаки – 50. Еще три пары новых – 1000. Лакированные – 500. Пальто: зимнее – 3000; демисезонное – 1500; летнее – 1200; старое перекрасить – 100. Носки, платки, воротнички, манжеты, галстуки – 1500. Белье по 2 дюжины – 5000. Три костюма – 6000. Латки на старый – 150. Телескоп – 50.000. Библиотека: русских классиков, астрономическая и философская – 50.000. Прав. уполномоченному С. Н. Палеологу для раздачи нуждающимся беженцам – 100.000. На постройку русского храма – 200.000. На устройство общежития для беженцев – 150.000...

Итого...»

Выходило более 872.000. Необходимо было сократить кое-какие расходы, но как? Конечно, нужно что-нибудь продать из старого: огородные инструменты, башмаки, пальто, пиджак... Итого – 2000 долой. А затем?... Ну, переехать в Белград можно и не в международном вагоне. Нечего бросать деньги на ветер. Телескоп выкинуть? Но я так люблю! Пусть тогда 25.000, а не 50.000. Ладно. Теперь общежитие... Да. 150.000. Но этого все равно мало! Что сделаешь на 150? И Палеологу 100.000 на беженцев не стоит. Не такой уж, я, в самом деле, богач, чтобы раздавать свои кровные деньги. 5000 довольно. Вот на храм дам, что верно, то верно. Только почему один я? Пусть кто-нибудь внесет другую половину! Я дам сто и он – сто. Все же будут молиться, не только я.

С большим трудом к двум часам ночи я кончал сведение баланса. И, сознаюсь, спал очень плохо, так как в тайниках души меня каждую ночь мучила совесть. Какой-то внутренний голос говорил: «600 тысяч получаешь, а сто тысяч на беженцев дать жаль? Ух, жила!» Я поворачивался со стоном на другой бок; но тот же голос уже с другой внутренней стороны продолжал: «60 тысяч в год на жизнь? Да? А другие двенадцати не имеют? Три пальто? Ботинки лакированные? Так вот, помани мое слово: ничего не выиграешь! Дудки! Я тебе покажу фигу в телескоп!»

Приходилось спрыгивать с кровати на холодный пол, зажигать свечу и торопливо изменять баланс. 200.000 на храм, 100.000 на беженцев... Остается. А телескоп – к черту. На пять лет бюджет не 300. Много. 200 довольно.

Приятели с участием спрашивали днем:

– Не здоровиться, наверно?

– А что?

– Лицо землистого огородного цвета.

– Да, – злобно говорил я. – Хорошо вам... без забот. Без хлопот. А вы распределите-ка 600 тыс. Увидим!

По несчастной случайности, которая произошла во время тиража билетов, 600 тысяч выиграл не я, а какой-то крестьянин на другом конце королевства С. Х. С. Какой у него был баланс, я не знаю. Но мне стало обидно. Мой номер мог выиграть наверняка, так как у меня были все те цифры, которыми обладал выигравший номер. Подвели только девятка и двойка: одна залезла почему-то на второе место, когда ей нужно было стать на четвертое, а другая ошиблась концом и стала не слева, а справа.

После этой ужасной истории я охладел. Я чувствовал, конечно, и свою вину. Общежитие то ведь я совсем зачеркнул в расходе! А с постройкой храма все-таки пожадничал и скостил с 200.000 50.000. Вот и получил. Поделом. В следующем сезоне я уже щедро назначил на обе эти статьи расхода две трети выигрыша: 400.000. Пусть! Но было поздно. Судьба не верила, что я не обману. И даже цифры в номере оказались не те.

В этом году, конечно, я не играю. Пусть другие треплют нервы, пусть не спят по ночам. Я слишком занят, чтобы хватать крупные куши. А что беженцы не умеют даже выигрывать, в этом я убедился не только на себе, но особенно на тех, которые все-таки от лотереи кое-что получили. Один несчастный русский в прошлом году выиграл 40.000, вложил их в дело по устройству пневматической почты в Белграде, и в конце концов срочно обратился в Державную комиссию за пособием и подал в Красный Крест прошение на предмет получения из склада американских брюк. Да что в прошлом году! Совсем недавно, всего только на днях, когда наша газета выходила почему-то позже, чем обыкновенно, приходит в нашу контору один из наборщиков, по виду точно перенесший паратиф<sup>18</sup>, и грустно говорит заведующему:

– Будьте добры, Мануил Мануилович, дайте, пожалуйста, аванс. А то я, знаете, выиграл в «лутрию» 1500 динар, и... не рассчитал.

*«Новое время», рубрика «Маленький фельетон», Белград, 3 декабря 1922, № 483, с. 3.*

---

<sup>18</sup> Кишечная инфекция.

## На кладбище

Кладбищенский сторож Мирко решил отпраздновать Сочельник.

Приглашенных было всего три человека: могильщик Милош и кучер из белградского бюро похоронных процессий Светозар с женой. Жена Светозара, однако, испугалась разыгравшейся к вечеру вьюги, не пустила мужа. И весь вечер Мирко просидел у себя в сторожке вдвоем с Милошем, усиленно угощая приятеля сластями и подливая в его стакан сербской водки – ракии.

Он любил этого доброго малого – Милоша за его мрачный нелюдимый характер, а главное за то, что с ним не нужно было много говорить. Так же, как и Мирко, Милош отлично понимал, что в этом мире все ясно без слов: и жизнь, и смерть и, в особенности, похороны.

– Ишь, вот, проклятый, – пренебрежительно сказал, наконец, Мирко, кивая в сторону занесенного снегом окна и поднося стакан с ракией к губам. – Как будто, у него кто-то умер.

– Эх... – выбранился Милош, оскорбив в брани солнце, а попутно с солнцем луну и мелкие звезды. – Хотел бы я его, бездельника, поймать и закопать в землю. Не дул бы! Твое здоровье, Мирко.

– Твое. Сколько вчера за купца получил?

– Сорок.

– Мало, брат. Очень мало. В промерзлой земле, да со снегом наверху – сорок, а? Разбойники! Стыда у нынешних покойников нет. За какую-нибудь поганую комнату, где из окна дует, и стены прогнили, платят, небось, сколько хозяин спросит. А, вот, могильщику, за отличное помещение до конца мира, каких-нибудь двадцать динар прибавить жалко. Милош, что за люди теперь умирают, а? Стоят они того, чтобы их глубоко закапывать?

Мирко негодуяще плюнул, встал, покачиваясь, пошел к двери.

– Идет снег?

– Перестал.

В сторожку ворвался ветер, радостно взвизгнул, почувствовав тепло, и бросился к печке, стараясь укрыться в испуганных углях. Мирко не долго пробыл на воздухе. Вернувшись назад, он молча налил стакан, выпил содержимое сосредоточенно, с достоинством, как всегда; но Милош заметил в лице друга что-то новое: не то озабоченность, не то тревогу.

– Что-нибудь случилось, Мирко?

– Ничего...

– Может быть, покойники ходят?

Мирко вздрогнул, угрюмо опустил взгляд.

– Нет.

– А я на-днях видел мертвого войника, – начал снова Милош. – Вожусь я перед вечером около памятника доктора, знаешь, – которого Светозар в мае так удачно в день моей славы привез. Вдова к праздникам ремонт решила сделать. А там, ведь, конец кладбища, поле, далеко все видно. Так, вот, только что кончил я курить, огляделся – кругом никого – взялся за молоток.

И, вдруг, вижу – со стороны поля, совсем близко ко мне – человек! Не было никого до самого Джерама – и, вдруг, идет. В тридцати шагах... Что с тобой, Мирко? Нездоровится?

– Что-то холодно стало. Выпьем еще, Милош.

– Спасибо. Так, вот, стою я, бросил работу, смотрю. А он увидел меня, как будто, даже испугался сначала, но потом надвинул на лоб меховую шапку и быстро прошел мимо.

– Сказал что-нибудь?

– Да. «Лаку ночь».

Мирко снова вздрогнул. Положил локти на стол, покачал головой и печально, чуть слышно, пробормотал:

– Плохо это, Милош. Ой, как плохо!

– А что?

– Умрем мы с тобой, Милош, в этом году, вот что.

Мирко вздохнул, искоса взглянул на дверь, продолжал:

– Для человека нет хуже, Милош, как слышать от покойника «лаку ночь» или «приятно спавати». Старый сторож Милан сам учил меня, как нужно с мертвецами обращаться, когда они поднимаются из могил. Видеть их одними глазами – не опасно. Это даже приносит удачу, в особенности, если они без одежды, в одном только скелете. Но, не дай Бог, с мертвецом заговорить, или услышать приветствие. Одно средство спастись от смерти в этих случаях – бросить вдогонку комок мягкой земли, чтобы комок рассыпался в воздухе, и три раза произнести: «чекай-почекай, чекай-почекай». А не успеешь сказать и бросить, – конец. Тут у нас, говорят, несколько человек так перед войной пропало: мертвецы в могилу затащили, а в какую – никто до сих пор не знает.

Мирко помолчал и, вдруг, таинственно наклонился к Милошу.

– Милош... – прошептал он, беря друга за руку, – я видел его. Сейчас...

– Кого? Вчерашнего купца?

– Нет. Твоего войника. Стою возле дороги, оглядываюсь – и, вдруг, проходит. Хотя быстро исчез в темноте, однако, успел, проклятый, сказать: «Лаку ночь».

Обреченные Мирко и Милош с отчаянием пили до глубокой ночи. Пили жестоко, ничем не заедая, ни о чем не говоря друг с другом. Они отлично понимали, что перед лицом близкой смерти все сожаления излишни, что самый лучший способ использовать остаток жизни – забыть о конце. И только около трех часов пополуночи Милош, едва держась на ногах, собрался, наконец, идти в свой барак, находившийся на шоссе. Мирко же, не отпуская дорогого гостя, опустил в карман пальто бутылку вина и решительно заявил, что пойдет провозжать.

Снег уже перестал падать. Порывистый ветер разогнал в небе тучи, звезды горели особенно ярко. И Милоша, при виде этого неба, охватила тоска. Звезды показались такими прекрасными! Стало так жаль покидать землю, и этот нарядный снег, обнявший кресты, и даже надоедливый ветер, который все-же говорит сейчас на ухо, что Милош пока жив, и что жизнь – самое лучшее, что есть в этом мире.

Звезды смотрят оттуда и, как будто, заплаканы некоторые. Хотят сбросить с ресниц набежавшие слезы. Но, кто его знает, глаза это или свечи на панихиде? Может быть, зажглись они потому, что сейчас Милошу будут петь «вечную память»?

– Куда, брат? – раздался голос Мирко. – Держи правее! Эх, ты...

Мирко шел сзади, с трудом извлекая сапоги из глубокого снега. Слышно было, как он тяжело дышит, стараясь свободно владеть ногами. Вот, уже кресты стали попадаться реже и реже. Старая часть кладбища пришла в ветхость; над многими могилами совсем нет крестов. А Мирко, поступивший на службу недавно, знал этот заброшенный участок плохо.

– Милош! Не видишь?... Открытое поле! Иди направо, дьявол! Нет! Не могу. Подожди, Милош. Сядем здесь... Какая жара! Хочешь вина? Садись! Может быть, и не умрем. Врет Милан, старый осел. Даю слово, врет. Ты сел? Пей... Куда смотришь? Милош!

– Пес!..

– Что с тобою?

– Пес!..

Мирко смолк... Насторожился. И почувствовал, как внутри в нем что-то, будто, порвалось. Точно чья-то рука схватила сердце и сжала.

Вблизи, совсем вблизи, где-то тут, рядом, на открытом пустом месте, вдруг, запел невидимый хор!

Спокойно мерцали в небе звезды, спокойна была открывавшаяся впереди снежная даль. Даже ветер стих, точно прислушиваясь. А хор громко пел, и печальные звуки то затихали, уходя вглубь земли, то поднимались к поверхности снежного савана, говоря о тоске, о страданиях душ, об утерянной жизни...

Так не могли петь простые люди. Но неужели так прекрасно поют мертвецы?

Как мучительно медленно тянулось время! Наверху, точно ступая за невидимым катафалком, торжественной процессией поднимались с востока звезды. Ветер совсем стих, но мороз усилился: кто-то открыл настежь двери в ледяное мертвое небо. Хор умолк. Стало тихо – ни малейшего шороха. Слышно даже, как вдали, наверху, от боли стонет, сорвавшись с неба, звезда.

– Мирко! Что это?

– Милош!

Мирко хотел вскочить, побежать. Но Милош впился в руку.

Впереди – шагах в двадцати – что-то скрипнуло. Зашевелился снег, раздался грохот. И из земли стала подниматься фигура.

– Это он... – зашептал Милош.

– Войник!

Фигура выросла над землей во весь рост, отряхнула с себя снег, ударила одной рукой о другую и страшным прерывающимся голосом, точно разучившись на том свете говорить по-сербски, воскликнула:

– Ла... ку... ночь!

Она сделала в сторону два неверных шага. Остановилась. И, вдруг, за нею начала расти вторая фигура. Затем третья... Четвертая...

– Лаку ночь! – повторили с жутким смехом замогильные голоса. – Приятно спавати! С Богом!

– Чекай-почекай, чекай-почекай, чекай-почекай... – зашептал скороговоркой Мирко. – Бежим!

– Чекай-почекай, чекай-почекай... Не могу... – стучал зубами Милош.

Внезапный порыв ветра, вдруг, качнул обоих. Точно в погоне друг за другом, по небу побежали новые тучи. Померкли звезды, замелькали снежинки. Опять загудела, засвистала метель, перемешав небо с землею, воздвигнув в воздухе белую стену. А среди стонов и плача бури слышен был безжалостный смех поднявшихся из гроба фигур, которые окружили Мирко и Милоша, увели их к тому месту, из которого вышли, и вместе с ними медленно стали проваливаться в землю.

Под утро вьюга прошла. Показались звезды, поднялся рог луны, возвещая близкий рассвет. А вокруг простиралась гладкая, ровная пелена снега, и только из того места, где исчезли Мирко с Милошем, поднимался к небу голубой дым.

\* \* \*

Я написал это вовсе не потому, что хотел напугать детей или развлечь взрослых. Мне хотелось просто вспомнить о факте, сделавшемся предметом судебного разбирательства.

В белградском «первостепенном суде» имеется дело за № 2243 о русских беженцах Иване Чепуркове, Федоре Касякине и Дмитрие Лопуненко, обвинявшихся в осквернении могилы умершего в 1898 году адвоката Иовановича, в склепе которого означенные беженцы прожили три месяца с 21 сентября по 25 декабря, и в каковом были, наконец, обнаружены кладбищенским сторожем. Суд, рассмотрев дело, обвиняемых оправдал, а присутствовавшая публика и сами судьи собрали между собой 983 динар 30 пара для уплаты за помещение беженцев в городе.

Вот, и все. А страшного ничего не было.

*Из сборника «Незванные варяги», Париж, «Возрождение», 1929, с. 40–46.*

## Покинутая земля...

Я не согласен с изображениями Нового Года в виде невинного дитя, которое стоит с пальмовой ветвью в руке у закрытой двери под первое января и благоговейно стучится:

– Можно?

Новогодние дети, посылаемые нам теперь к январю, совсем не невинные дети. Никакой пальмовой ветви в руках у них сейчас нет; и совсем они не похожи на святых христианских младенцев.

Это скорее бесы, каждому из которых страстно хочется дорваться до земли и поиграть ею на ее орбите в футбол.

Быть может раньше символ невинного ребенка и подходил к Новому Году. Но меняется жизнь, изменяются образы. Мне представляется, например... Ночью под первое января у старика Хроноса собирается целый сонм планетарных спортсменов: выстраивается целая команда темных языческих духов и решается срочно мировой вопрос:

– Кому теперь играть землю, оставленной Богом на произвол Мойры?

Старый год возвращается к полуночи запыленный, грязный, в рваных футбольных ботинках. Он вытряхивает от пыли материков Старого и Нового Света свой спортивный костюм; сушит у огня трусики, попавшие в лужу Средиземного моря; соскабливает с ботинок грязь, и кровь, и ил болота, прилипшие к ногам во время бега.

А молодой новый бес уже бросился в 12 часов вниз на орбиту. И катит землю. И бьет ее грубым носком башмака, подталкивает каблуком, придавливает коленом. Что ему, если ударом подошвы он сотрет с лица земли целую страну? Так толста эластичная оболочка мяча, что игра не нарушится. И кровь миллионов людей – только легкая испарина, не видная планетарному глазу.

Каждый год теперь играет Новый Год землю в футбол. Отлетел дух Христа – и языческий Хронос отдает ее своим духам, устраивающим в небе марафонские, истмийские и олимпийские игры. Не священная обитель теперь земля, данная образу и подобию Бога: просто шар. В меньшей части поверхности – сухой, в большей части – грязный и мокрый. Нет величия центра в нем: он песчинка мировой пыли во мраке. И ненужная жизнь на поверхности: она плесень.

Вертится мяч в ногах языческих духов. Мечется вокруг себя, не находя конца вращению, не находя смысла движению. Дрожит под ударами бесовских ног, гудит под пятой веселящихся. И когда, наконец, снова появится невинное дитя?

Когда, наконец, снова у двери нового года станет святой ребенок с пальмовой ветвью в руке, постучится благоговейно в чертоги Бога? Когда, наконец, Господь Бог, вырвав мяч из-под ног бесноватых, оботрет его мантией своей от крови и грязи, возьмет любовно в руки, чтобы обратить снова в свою Державу, вдохнет дух Христа и передаст в полночь Новому Году со словами:

– Иди, мое дитя?...

*«Новое время», рубрика «Маленький фельетон», Белград, 14 января 1923, № 517, с. 7.*

## Omnia mea mecum porto<sup>19</sup>

Над Европой как будто опять нависают грозовые тучи всеобщей войны. В воздухе пахнет кровью и порохом. Все квартирные хозяйки Старого Света с тревогой смотрят на свои швейные машины и мягкую мебель, которые может отнять нападающий враг.

И только мы, русские беженцы, как истинные философы, спокойны, величественны и невозмутимы.

Мы в большей части своей – Муции Сцеволы, которых достаточно пытали за честь родины. Нам многое не страшно. Мы – воссоздатели древнегреческого и римского стоицизма. Мы, пожалуй, иногда не только стойки, мы даже циники. Но не простые циники, а циники-философы в хорошем старом смысле этого слова. Основатель цинической школы Антисфен ходил в рваном плаще и гордился этим. Гордимся и мы. Диоген снимал для жилья пустую винную бочку и был весел; подобные помещения занимаем и мы. И тоже не плачем.

И если Диоген, на вопрос великого македонского царя – что он хотел бы получить в дар, – ответил:

– Отойди и не заслоняй света солнца...

То и мы, на все предложения великой Европы через доктора Нансена, говорим:

– Спасибо, нам в бочке хорошо. Не мешайте смотреть на небо.

Наша беженская философия – не та ничемная философия, которой занимались наказанные впоследствии чеховские герои. Это и не барская философия Льва Толстого, вызванная в своем вегетарианстве несварением желудка, а в непротивлении злу – слишком безопасной жизнью под охраной российской полиции.

Наша беженская философия именно древнегреческого героического типа. Точно также, как наша религия теперь – религия мучеников первых веков. Мы не философы-профессора, и не философы-помещики, а настоящие претворители философии в жизнь, проповедники действием, учителя – личным примером.

Великая, действительно, вещь в мире – отсутствие вещей! Человек, обрастающий домом, конюшнями, гаражом, гардеробом, уже не человек, а беспомощный кокон, из которого каждая смелая рука может извлечь шелк себе на платье, а куколку выкинуть и раздавить, как червяка. Человек, органически связанный с вещами, тем меньше человек, чем больше вещей. И во всей этой компании – со многими дюжинами белья, костюмов и статуэток на полках – неизвестно, в конце концов, кто кого влечет, и кто кем управляет: статуэтка человеком или человек статуэткой.

То ли дело один чемодан и в одном чемодане одна смена белья! Такой человек – царь природы. Он господин на земном шаре, он полубог.

На нем нет рабской неповоротливости от тяжести цепей, прикрепленных к ногам в виде двадцати пар запасных ботинок; он не пришиблен дубовой мебелью, навалившейся на его плечи; не бросает его в пот от всех одежд, верхних и нижних, надетых сразу на одно тело; и не стоит он, увязнув по пояс в собственной земле и не имея возможности двинуться с места, когда вокруг – весь Божий мир и земной шар, такой удобный для ходьбы, потому что круглый.

Я не проповедую этой беженской философии для широких демократических масс. Демократ, лишенный вещей, становится обычно не полубогом, и не царем природы, а просто вором или попрошайкой. Но мы, беженцы, смотрящие на культурные блага не по-демократически снизу вверх, а аристократически сверху – мы именно углубляемся, совершенствуемся, возвышаемся.

---

<sup>19</sup> Все свое ношу с собой (лат.).

Диоген тоже не родился в бочке, иначе был бы не философом, а мелким жуликом. Анти-сфен не штопал плаща не потому, что был так воспитан. Жизнь толкнула русского беженца в Диогену бочку. И он в бочке высидел мысли, которые делают его богаче македонских царей.

Вот и война может быть... Все притаились: кто у кого стянет мебель, корову и паровоз? Я или он? Всем страшно прежде всего за разбитые стекла, за горшки, за матрас двуспальной кровати. А мы философски смотрим на Европу поверх квартир и сорных ящиков и ищем ответа только на один вопрос:

– Если будет война, кто победит наконец: дух или материя? Люди или их угнетатели – вещи? Человек или его враг – грязный сапог?

*«Новое время», рубрика «Маленький фельетон», Белград, 19 января 1923, № 521, с. 3.*

## Беженская философия

Пять лет тяжелого пребывания в эмиграции, очевидно, сильно углубили нас. Где былое цепкое отношение к движимому и недвижимому имуществу? Где жадное устремление к призрачным земным благам? Прежде – такая дрянь, как дорогие безделушки на этажерке, приводили нас в волнение. Мы охали, стонали, умилялись... А сейчас – подарите беженцу дорогую вазу или статуэтку Венеры Милосской, и он не на шутку рассердится:

– Куда я ее поставлю? На умывальник?

Отношение наше к вещам теперь настолько недоверчиво-критическое, что сравнительно с нами сам основатель критицизма Кант – чистейший материалист. Он все-таки признавал «вещь в себе», «вещь для себя». А мы отрицаем. «Вещь в себе», как недоступная по цене, нас мало интересует: «вещей для себя» мы стараемся приобретать, как можно меньше, чтобы легче было передвигаться в Уругвай или Парагвай. И, таким образом, мы, эмигранты, действительно настоящие философские идеалисты, не признающие за вещами никакой реальной данности, считающие их результатом игры человеческого представления о мире, наваждением призрачной витрины с заманчивыми дорогими товарами. Будучи идеалистами в теории познаний современной цивилизация, мы, однако, не афишируем слишком своего презрения к внешнему миру. Ведь, казалось бы, беженский жилищный вопрос легко мог привести нас к диогеновской квартирной идеологии. Точно так же отсутствие приличных костюмов могло толкнуть нас в объятия Антисфена, наивно гордившегося дырами на своем плаще. Словом, несмотря на все благоприятные данные, мы не сделали в практической жизни циниками; из презрения к вещам – не считаем нужным создавать философской рекламы.

Ведь, Диоген, сидя у бочки, исключительно ради тщеславия, попросил Александра Македонского отойти в сторону, не заслонять солнца! А мы, будучи и мудрее, и проще, сидя у входа в гнилице, наоборот, как ни в чем не бывало готовы позвать внутрь кого угодно из почетных гостей:

– Не выпьете ли чайку?... Чем Бог послал... Пожалуйста!

Точно так смешон в наших глазах, если даже не жалок, основатель кинической школы Антисфен. Увидавши этого заносчиваго молодого человека, нарочно одевавшегося в лохмотья, Сократ как-то сказал про него:

– Смотрите: сквозь дыры плаща Антисфена проглядывает тщеславие. Но будь Сократ жив сейчас, он внимательно бы осмотрел наши пиджаки, продолжения, полюбовался бы тщательно пригнанными цветными латками на протертых местах... И, наверное, с благоговением воскликнул бы, обращаясь к Платону:

– Клянусь гусем, Платоша, вот это – философы!

\* \* \*

Все, что сказало мною до сих пор об углублении беженской мысли, – несомненный наш плюс. Но стремление к философичности, если его не сдерживать в должных рамках позитивизма, неизбежно ведет к метафизике. Иногда, конечно, метафизика и не приносит вреда. Это в тех случаях, когда она соответствует определению Вольтера: «один говорит, не понимая сам, что говорит; другой слушает, и делает вид, что понимает сказанное».

К такого рода невинной беженской метафизике можно отнести доклады на наших спиритических обществах, заседания членов учредительного собрания, меморандумы русских хлеборобов в Германии, статьи в «Днях», декларации правительств Дона, Кубани и Терека... Рассуждения о легитимизме в газете «Стяг»...

Но иногда метафизика, долженствующая парить на высотах, бурно врывается, вдруг, в жизнь, производя смущение в умах встревоженных слушателей. В этих случаях она запутывает в узел ясный смысл существования беженца, вносит разлад в его мироощущение, осложняет самоанализ, ставит лицом к лицу перед неразрешенным проклятым вопросом...

И вот об одном из таких тяжелых примеров увлечения метафизикой мне на днях как раз сообщил в письме из Берлина приятель. Собрались на заседание почти все русские, проживающие в городе, дебатировали долго и горячо вопрос о том, как назвать себя: беженцами или эмигрантами? И довели автора письма до того, что он уже вторую неделю забросил дела, мрачно ходит взад и вперед по Унтер-ден-Линден<sup>20</sup>, расталкивает испуганных немцев и все решает, решает:

– Кто же он в конце концов? Беженец? Эмигрант? Эвакуант?

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 20 декабря 1925, № 201, с. 4.*

---

<sup>20</sup> Дословно «Под липами» (нем.), один из главных бульваров Берлина.

## Гимназист ширяев (с натуры)

Большая перемена кончилась. В ожидании преподавателя ученики спешно просматривают текст урока, сверяя его с подстрочником. Прежде когда-то, в России, такие подстрочники можно было достать в каждом книжном магазине за пять копеек. Но теперь, в беженское время, никто печатных подстрочников не издает, приходится платить бешеные деньги гимназисту восьмого класса Синицыну за экземпляр, оттиснутый на гектографе.

– «В то время как солдаты, построив каре, стали защищаться... – торопливо бормочет, склонившись над партой Ширяев, – на крик быстро сбежалось около шести тысяч Моринов... Цезарь послал, между тем, на помощь своим всю конницу из лагеря»...

– Иван Александрович, вечером дома будете?

– Да... А что?

Ширяев поднимает бледное, обросшее густой бородой, лицо. Растерянно смотрит.

– Хотим с женой к вам нагряться. Елена Сергеевна приглашала... Сегодня суббота, ведь

– Ах, да! конечно... *Omnes ex castris equitatum*<sup>21</sup>... Будем очень рады *auxilio misit*<sup>22</sup>...

После урока сговоримся... Хорошо? А то вчера я... не успел...

– Ну, ну, зубрите. Ладно.

Гимназия, в которую поступил осенью этого года Ширяев, одно из тех учебных заведений, которые открыты для детей русских беженцев гостеприимными сербами. Правда, не для всех желающих хватает места. Но и то слава Богу. Кроме того, при приеме нет лишнего формализма... Правительственный член комиссии, сербский профессор, когда Ширяев подавал прошение о желании экзаменоваться для поступления в седьмой класс, – сначала было встревожился. Но затем вспомнил о России, с состраданием посмотрел на всклокоченную бороду будущего ученика, вздохнул:

– А вы знаете, мсье, что у нас правило: старше девятнадцати лет в седьмой класс – нельзя?

– Знаю, профессор.

– Так как же?

– Мне как раз девятнадцать. В июле исполнилось.

В данном Ширяеву разрешении подвергнуться испытаниям для поступления в седьмой класс, профессор, в конце концов не раскаялся. Хотя на экзамене по физике Ширяев старался уклоняться от теоретических вопросов, налегая, главным образом, на полет ядер в воздухе, на равенство действия противодействию во время атаки и на кинетическую теорию распространения душливых газов, а на экзамене по русской литературе все время сворачивал св. Даниила Заточника прямо на Блока и Бальмонта, зато результат испытания по географии совершенно растрогал профессора. На вопрос русского преподавателя, – что испытуемый может сказать про Центральную Африку и реку Конго, Ширяев любезно ответил:

– О, очень много... Если у вас есть часок свободного времени, могу рассказать, как мы в позапрошлом году работали на притоке Конго – Касае на бриллиантовых приисках. С племенами Бакуба, Лулуа, между прочим, хорошо познакомился. А от Басонго и по Санкуру, тоже плавал... До Лузамбо. Желаете?

---

<sup>21</sup> Послал всю конницу из лагеря (*лат.*).

<sup>22</sup> Рельеф (*лат.*).

\* \* \*

Преподаватель Петр Евгеньевич бодрой походкой вошел, сел за кафедру, записал, кого нет в классе.

– Ширяев, пожалуйста.

Держа в руке четвертую книгу Цезаря «De bello gallico»<sup>23</sup>, Иван Александрович молча пробрался с «камчатки» вперед, покорно стал возле кафедры, открыл 27-ю главу.

– С какого места урок?

– Cum illi orbe facto<sup>24</sup>, Петр Евгеньевич.

– Хорошо. О чем говорилось раньше, знаете?

– Да... Триста воинов с транспортов Цезаря, отбитых непогодой от остальной, возвращавшейся из Британии, эскадры, высадилось... В области Моринов... Ну, и вот, Морины напали.

– Так. Читайте текст.

Иван Александрович, медленно, спотыкаясь на длинных словах, не всегда произнося «ae» как «э», дошел, наконец до отчеркнутого в книге места. «Raucis vulneribus acseptis complures ex iis occiderunt»<sup>25</sup> – вытирая со лба выступившие мелкие капли, облегченно закончил он. И затем начал переводить.

– Ну, вот, отлично, отлично... – с довольным видом откинулся на спинку стула Петр Евгеньевич. – Теперь скажите, Ширяев: что особенного вы заметили во всем вами прочитанном?

– Ablativus absolutus<sup>26</sup>, Петр Евгеньевич.

– Где?

– Raucis vulneribus acseptis.

– Raucis?... Да, верно. И «orbe facio» тоже... Но я спрашиваю не про грамматические особенности, а про смысл. Что говорят про эту 27-ю главу комментаторы Цезаря? Помните?

– Не знаю, Петр Евгеньевич.

– Я же в прошлый раз рассказывал, кажется. Нехорошо!

– Меня не было на прошлом уроке, Петр Евгеньевич.

– Ага. Очень жаль. Ну так вот, имейте в виду: в истории военного искусства сражение с Моринами, так сказать, классический случай. Подумайте сами: пехота, численностью в триста человек, отражает натиск шеститысячного неприятельского отряда, в котором, главным образом, действуют кавалерийские части. Гений Цезаря, как видите, вдохновляет его войска и тогда, когда он не присутствовал лично. Момзен в своей «Римской истории» указывает, например, что Цезарь в умении держаться против более сильного неприятеля превосходит даже Наполеона. А Наполеон – это не шутка. Вы, впрочем, легко можете сообразить: 300 римских солдат с одной стороны и 6000 Моринов – с другой. Один против двадцати. Повторите же, что я сказал, Ширяев.

– Что повторить Петр Евгеньевич?

– О подвиге. Вообще. И мнение Момзена... В частности.

– Простите, Петр Евгеньевич, но не повторю.

– Что такое?

– Не согласен... С комментариями.

Петр Евгеньевич встать. Негодуя поправил пенсне.

---

<sup>23</sup> «Галльская война» (лат.).

<sup>24</sup> Когда же те образовали каре (лат.).

<sup>25</sup> Потеряв лишь несколько человек ранеными, перебили много врагов (лат.).

<sup>26</sup> Творительный самостоятельный (лат.) – особый синтаксический оборот латинского языка.

– Ширяев! Прошу повторить! Немедленно! – тонким голосом выкрикнул он. – Не забывайте, что вас против правила приняли! С бородой!

– Хорошо, – покраснев, угрожающе захлопнул книгу Цезаря Ширяев. – Я повторю, но при условии: если вы выслушаете про высадку наших дроздовцев у Хорлов. Или, если хотите, другой случай: как горсточка марковцев, алексеевцев и корниловцев в пешем строю раскатали кавалерийский корпус Жлобы. Вы сами отлично знаете, как мало нас было. А корпус Жлобы хотя и большевицкий, почище Моринов, все-таки!

\* \* \*

Звонок прозвонил один раз – к перемене. Прозвонил второй раз – к уроку. А перед доской, на которой были помечены немецкие колонии Северной Таврии и проведены из разных пунктов длинные белые стрелы, стояла восторженная гудящая толпа семиклассников, во главе с Петром Евгеньевичем. И вдохновенный бас Ширяева гремел на весь класс и ближайшую часть коридора:

– Ну, и метались они, каналы, с севера на юг и с юга на север до тех пор, пока почти полностью не били уничтожены. Только, штаб вместе со Жлобой, к сожалению, успел ускользнуть. Но мне с моим батальоном нельзя было идти в погоню. Не хотел обнажать флангов.

*«Возрождение», Париж, 5 апреля 1926, № 307, с. 2<sup>27</sup>.*

---

<sup>27</sup> Также напечатано под названием «Гимназист Иваненко» в сборнике «Незванные варяги» (Париж: Возрождение, 1929), с. 18–22.

## Беженец переезжает

### I.

Не знаю, кто из наших балканских беженцев был первым, открывшим Париж. Быть может, это какой-нибудь простой казак из Кубанской дивизии, соблазнившийся рассказами о том, что по парижскому метро можно целый день кататься в разных направлениях, не вылезая на поверхность земли и не беря нового билета. Или это был кто-либо из беженских буржуев, которому ценою золотого портсигара захотелось утонченно и красиво прожить свою жизнь. Или, наконец, этот «неизвестный эмигрант» был всего-навсего полу-грибоедовской полу-чеховской барышней, сидевшей в сербском курорте «Вранячка Баня» и, за не имением Москвы, вздыхавшей о Париже и о Франции по формуле «нет в мире лучше края».

Словом, кто-то был первым... А потом, естественно, поехал второй. Третий. И так до двадцать тысяч сто сорок восьмого. В конце концов, странно даже было видеть, как срывались с насиженного места почтенные уравновешенные беженцы, имевшие интеллигентный труд и менявшие его на какую-то писчебумажную фабрику или металлургический завод.

Тяга во Францию дошла в общем до того, что сербы стали принимать отъезд русских как политическое оскорбление:

– Ренегаты.

\* \* \*

Если бы социолог Г. Тард подождал еще лет двадцать и не умер, его исследование «Законы подражания», пополненное главою «Беженские переселения», безусловно вышло бы солиднее и убедительнее.

Это совершенная неправда, будто беженец передвигается по земному шару исключительно только в поисках заработка.

Во-первых, русский человек движется прежде всего потому, что ему вообще хочется двигаться.

Во-вторых, русскому человеку тяжело переменить место только в тех случаях, когда нужно, например, слезть с кровати и подойти к столу, чтобы написать письмо с двумя придаточными предложениями. Но если уж он случайно слезет да очутится за воротами, то конечно – не остановить.

И, в-третьих, наконец, подражательность. Не стадная, безотчетная, какая-нибудь приводящая к согласованным движениям и часто полезная в социальном смысле.

Нет, совсем не такая, общечеловеческая, а специфически русская:

– Что? Петр Владимирович уехал в Париж и воображает, что он один это может? Эге!

И на основании «эге» едет уже Георгий Леонидович. А получив письмо от Георгия Леонидовича, Дмитрий Андреевич никак не может успокоиться.

– Мусинька, – возмущенно говорит он жене, – неужели я хуже Георгия Леонидовича?

– По-моему, ты гораздо лучше, Митенька.

– Так за чем же дело стало?

И через три месяца Дмитрий Андреевич уже мечется по парижским улицам, стараясь не попасть под авто, а в ближайшее воскресенье торжественно идет на рю Дарю к русской церкви, чтобы испытать острое наслаждение при виде изумленного и негодующего лица своего географического соперника.

- Это вы? Как так? Не может быть!
- То-то и оно, что может!

\* \* \*

К чести своей должен сказать, что против эпидемии переселения во Францию мне удалось продержаться целых два года. Конечно, обидного было немало... Борис Алексеевич, например, в своих письмах ко мне всегда как-то ехидно подчеркивал: «у нас в Париже» или «мы, парижане».

Петр Петрович тоже дразнил. Ценами: «У вас, в Белграде, за три динара дают один мандарин; здесь же за эти деньги семь-восемь». А Николай Николаевич соблазнял уже с другого конца: «Я знаю, дорогой мой, что у вас в Белграде много личных врагов, в особенности среди политических друзей. Приезжайте же сюда. Здесь очень хорошо – не три группировки, а тридцать три. Совершенно не будете чувствовать, никогда не разберетесь, кто вам друг, а кто враг». Капля за каплей долбили мою славянофильскую стойкость эти ужасные, манящие вдаль, парижская письма.

Действительно, как устоять против перспективы иметь в умывальнике кран с теплой водой? Или проехать в такси три версты за четыре франка, то есть девять динар? А тут, как на зло, меня и моего друга Ивана Александровича, с которым мы давно делили и горе, и радости, и комнату пополам, дернула нелегкая обзавестись собственным хозяйством. Наняли около королевского дворца в центре города небольшой флигелек возле ворот огромного барского дома, купили кровати, посуду, ведра, плиту с духовкой. И начали самостоятельную, как будто бы идиллическую, но на самом деле грозную и бурную жизнь.

Утром таскали воду, днем кололи дрова, по вечерам вытряхивали трубы, чтобы печь не дымила. А в промежутках что-то угарно жарили на плите, стирали белье, гладили. И в придачу, каждые три минуты стук в дверь:

– Молим... Где живет Влада Живкович? Где нанимает комнату г-жа Ильич? Где квартирует профессор Павлович?...

– Ваня, – уныло сказал я, наконец, своему другу, промывая йодом раненый во время колки дров палец. – Ты не замечаешь, что публика принимает нас за дворников?

– Ну так что ж? Пусть себе принимает.

– Обидно, все-таки, Ваня. Если бы домохозяин платил, еще ничего бы. А бесплатный дворник... Это унижительно. Кроме того, когда же мне удастся писать свои статьи?

– По ночам, очевидно.

– Но ночью здесь такой собачий холод! Не могу же я одновременно и писать, и топить печь!

– А у тебя разве одна рука? Придвинь стол к плите, одной рукой пиши, другой подкладывай... Чудак, не умеешь устроиться!

Я даже удивляюсь, как это случилось, что одна и та же мысль пришла нам в голову одновременно. Должно быть в силу конгениальности, как у Ньютона и Лейбница. Но как-то раз вечером мы грустно сидели за чаем, прислушивались к вою вьюги, забаррикадировавшей огромными сугробами выходную дверь нашей комнаты, обсуждали вопрос, у кого попросить воды для умывания, так как кран во дворе примерз, не откручивается. И вдруг Иван Александрович как-то мрачно осмотрелся по сторонам, с ненавистью взглянул на купленные кровати, посуду, плиту... И загадочно прошептал, придвинувшись ко мне:

– Бежим, а?

– Бежим!

– Куда только?

– Все равно... Куда легче дадут визу. По линии наименьшего сопротивления властей.

*«Возрождение», Париж, 22 января 1926, № 234, с. 3.*

## II.

Весть о том, что мы с Иваном Александровичем уезжаем в Париж, облетела русский Белград со скоростью распространения света. Это не значит, конечно, что мы с Иваном Александровичем люди в высшей степени замечательные. Когда уезжал Решеткин, было как раз то же самое. И Пирожков переезжал точно также при всеобщем смятении. Просто в Югославии, за отсутствием разумных развлечений, каждое необычное движение соседа всегда вызывает в русской колонии яркий общий рефлекс. И рефлекс этот происходит по всем правилам физиологии нервной системы: сначала местное возбуждение и легкое подергивание языка у нервных дам, затем рефлекс симметричной стороны – в левом лагере, если событие произошло в правом, или в правом лагере, если событие касается левого; и, наконец, генеральный рефлекс, во всей колонии:

– Как? Что? Почему? Давно ли? Куда? Не сошел ли с ума? Может быть замешана женщина?

До меня очень скоро стали доходить тревожные слухи. Надежда Ивановна раз сказывала, будто Софья Николаевна сама слышала, как Юлия Валентиновна передавала, будто Георгий Константинович уверял, что я еду работать в «Парижский Вестник» и буду пропагандировать заем Раковского<sup>28</sup> у французов. С другой стороны, в «Эмигрантском комитете» тоже стало точно известным, что группа парижских помещиков решила выпускать во Франции боевую черносотенную газету под заглавием: «Землю назад!» И пригласила меня заведующим шахматным отделом.

Самым невинным из всех слухов, о которых мне ежедневно сообщала по секрету Елизавета Владимировна, был слух о том, будто я уезжаю из-за колокола, пожертвованного супругой Николы Пашича<sup>29</sup> русской белградской церкви. Действительно, так как местное сербское духовенство препятствовало поднятию этого колокола, а Министерство веры, наоборот, настаивало, и русские очутились в щекотливом положении, то бывший посланник В. Н. Штрандтман<sup>30</sup>, в качестве председателя приходского совета, вышел из затруднения так: предложил после поднятия колокола звонить в него «дипломатично, корректно и тихо», чтобы не раздражать соседних сербских священников. Так как, по слухам, мне было обещано, что я первый ударю в поднятый колокол, то предложение г. Штрандтмана меня глубоко оскорбило. Говорят, что между нами с глазу на глаз произошло бурное объяснение. Что я потребовал от Штрандтмана, чтобы он сам взял веревку и показал, какой звон можно считать дипломатичным. И так как посланник отказался от этого, заявив, что у меня самого должен быть достаточный такт, чтобы определить на Балканах силу удара, я, возмущенный, ушел из Совета, послал отказ от звания члена и решил немедленно покинуть Белград.

Как бы то ни было, но в одном русская колония оказалась права: Иван Александрович действительно начал осаждать учреждения, от которых зависит перемещение беженцев по земному шару. И меня даже тронуло, как чуть ли не со слезами на глазах одна почтенная беженка уговаривала нас не уезжать.

---

<sup>28</sup> Христиан Георгиевич Раковский (1873–1941) – болгарский революционер, затем советский государственный деятель; в 1925–1927 гг. пребывал на дипломатической службе во Франции.

<sup>29</sup> Никола П. Пашич (1845–1926) – сербский политик и дипломат, идеолог «Великой Сербии». Премьер-министр Сербии и Королевства сербов, хорватов и словенцев.

<sup>30</sup> Василий Николаевич Штрандтман (Штрандман) (1873–1963) – русский дипломат; с 1914 г. поверенный в делах Российской империи в Сербии, затем представитель правительства Колчака; после Второй мировой войны эмигрировал в США.

– Что вы делаете, господа? Ведь вас похитят в Париже большевики! Не читали историю про грузина?

Писать о мытарствах с визами теперь, на шестом году беженства, старо и не модно. Вопрос этот разработан лучшими эмигрантскими умами уже настолько глубоко и всесторонне, что останавливаться на нем совершенно не стоит. Гораздо тяжелее и острее для выезжающих из Югославии беженцев другой проклятый вопрос: как вывезти обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Или как получить разрешение на переезд через границу, имея в чемодане серебряную ложку.

У нас с Иваном Александровичем, например, есть две серебряные реликвии. У меня – подстаканник, подаренный во время эвакуации старухой-кормилицей. У Ивана Александровича вещь поменьше, но тоже валюта: серебряный двугривенный. На вывоз обоих этих предметов роскоши требуется разрешение Высшего Таможенного Совета. А до подачи прошения в Совет, необходимо еще удостоверение русского консула, что двугривенный вывезен именно из России, а не куплен в Белграде как сербское производство.

– Брось, Ваня, глупости, – мрачно говорю я, видя, как друг мой сидит, склонившись над столом, и прилежно составляет подробную опись монеты.

– Охота из-за двугривенного, в самом деле!

– А твой подстаканник!

– Я его везу контрабандой, конечно.

– Как? Что? Контрабандой? Я не еду, в таком случае! Не терплю незаконных поступков!

Весь ноябрь и декабрь, уже имея визы, мы нервно ждали ответа таможни. Иногда нам казалось, что разрешение вот-вот будет на днях. Тогда я торопливо говорил другу:

– Тащи, Ваня, дрова. Топи во всю... Не оставлять же домохозяину целых полметра!

И мы снимали пиджаки, расстегивали ворот рубахи... Вдыхали. Но топили, топили до головокружения. А потом, вдруг, оказывалось, что заседания Таможенного Совета насчет подстаканника и двугривенного совсем не было. Даже неизвестно, когда будет. И я мрачно бурчал, видя, как друг копошится у плиты:

– Куда суешь? Опять? Что за наказание, Господи? Прямо не печка, а прорва!

День отъезда, наконец, назначен. Взяты даже билеты. Сначала предполагалось шикнуть: на деньги за проданные кровати проехать в Ориент-Экспрессе. Затем, однако, раздумали: не лучше ли просто во втором классе? После этого, вдруг, одному из нас, не помню именно, кому, пришла идея: а хватит ли на второй класс? Разложили, подсчитали, увидели, что перевоз двугривенного и подстаканника уже обошелся нам в 50 франков, вспомнили также, совершенно случайно, что в Париже за отель тоже придется платить, и остановились на третьем.

В третьем, пожалуй, даже удобнее. Дерево всегда гигиеничнее материи и, кроме того, полиция будет спокойнее, зная, что мы – российские буржуи, не рабоче-крестьянская власть.

Накануне отъезда интимная группа друзей чувствовала нас прощальным обедом. В первый раз я испытывал это грустное чувство – быть объектом прощально-обыденного торжества. Временами мне казалось, будто я покойник, и надо мною кто-то причитает и плачет. Временами, наоборот: ясное, твердое ощущение, что я юбиляр. Подобная действенность, подобное качество настроения между поминками и заздравными тостами так меня расстроило, что я прослезился даже...

А наш общий друг, беженский любимец, Сергей Николаевич, сидел возле, и увещевал, чтобы мы крепко держались против парижских соблазнов:

– Не прожигайте жизни, смотрите!

– Не прождем, Сергей Николаевич, будьте спокойны.

– Не поддавайтесь угару и вихрю наслаждений, прошу вас!

– Не поддамся, Сергей Николаевич.

– А, главное, не швыряйте деньги направо-налево. Это так легко там в Париже. Ваше здоровье, господа! Счастливой дороги!

*«Возрождение», Париж, 25 января 1926, № 237, с. 3.*

### III.

Странная вещь. Как ни трудно нам жить, как ни старается судьба сбить с головы беженца последнюю шляпу, сорвать с ног единственные ботинки, но против буржуазности нашей природы, очевидно, бессилён сам рок. То пристанет к нам какой-то кофейник, то неожиданно появится в хозяйстве чайник. А за ними, глядишь, постепенно пробираются в комнату примус, спиртовка, вазочка для цветов, неизвестно откуда взявшийся слоник, подкова на счастье. И вещи, выигранные на беженских благотворительных лотереях: детская вязанная шапочка, подушка для иголок, акварель г-жи Дудукиной в золотой раме под стеклом.

Кажется, английская пословица (при чем тут национальность?), говорит, что великий человек только при переезде узнает, как он богат. В самом деле, мы никак не ожидали с Иваном Александровичем, что у нас будет с собой столько поклажи. Не ожидал, очевидно, этого и кондуктор, когда два носильщика стали по очереди вваливать в вагон одну корзину за другой, один чемодан за другим.

– Это что, экскурсия? – строго спрашивает он, уставившись подозрительным взглядом на пальто Ивана Александровича, из-под мышек которого ослепительно сверкает недавно вычищенный медный самовар, наша краса и гордость.

– Да, археологическая, – обрадовавшись идее кондуктора, соглашаюсь я.

– А где остальные?

– Билеты берут.

В сущности, конечно, мы могли бы из всего взятого с собой, половину бросить в Белграде. Например, на что мне металлическая коробка от монпансье? Или смычок от скрипки, украденной большевиками?

Но на коробке до сих пор еще видны потускневшие слова «Блигкен и Робинсон»<sup>31</sup>. Когда-то, давно, там, покупал к монпансье, чтобы рассыпать их в цветные бонбоньерки... Невский был залит огнями... Предпраздничная толпа, мелькание фыркающих саней, у «Европейской гостиницы» синяя сетка... «Ваше сиятельство, пожалуйста...»

Разве можно бросить такую коробку? Или смычок, который вел вторую скрипку в квартетах Бетховена?

– А на голову мне не упадет? – тревожно озирается сидящая на скамье старая сербка.

– Не беспокойтесь, господжо... Это все мягкое. Тюфячок, подушки, ночные туфли...

– А куда вы едете? В Великий Бечкерек?

– В Париж, мадам. У Париз!

\* \* \*

Вот теперь только, глядя в окно и видя уходящие, быть может, навсегда, для меня, знакомые сербские станции, я чувствую, что родство со славянами – не звук пустой.

Сознаюсь: ворчал на сербов за пять лет не мало. Электричество потухнет – «ох, эти Балканы»... Водопровод не действует, – «Азия»... И они, должно быть, тоже честили меня, как могли. «Упропастил свою Россию»... «Пусть путует обратно»... «Надоел этот избеглица»...

---

<sup>31</sup> Торговый дом «Блигкен и Робинсон» в Петербурге, поставщик Его Императорского Величества, специализировался на кондитерских изделиях.

А сейчас расстаюсь, и грустно, грустно... Все же свои. Настоящие свои! Как из большой семьи, где нет уже ни мамы, ни папы, и где продолжают друг друга крепко любить, иногда переругиваясь, иногда даже делая взаимно мелкие гадости.

Я, например, могу сам бранить сербов сколько угодно. Но французу, итальянцу, или немцу, ни за что не позволю. Да и серб тоже так. Будет уменьшать русскому жалование, набавлять цену на комнату. А как затронута честь «майки России», или достоинство русских братьев, в драку полезет. Ведь сорок тысяч беженцев приютила у себя Югославия; приютила не так, как многие другие: «черт с тобой, живи и аккуратно плати». Десять тысяч человек принято на государственную службу. Чиновниками, инженерами, офицерами, врачами. Инвалидам оказывается помощь. Дети учатся на казенный счет. Престарелые получают пособие... А если многие соседи по квартирам – сербы и русские – провинциально надоели друг другу, то разве большая беда? Без сомнения, лишь только пробьет час, и русские двинутся общей массой к себе на восток, никто не будет на земном шаре так трогательно и нежно прощаться, как сербы с русскими, или русские с сербами. Цветы, платки, поцелуи... Слезы на глазах. И взаимные сердечные возгласы на перроне:

– Не забывайте, пишите!

Будь я сейчас в пределах Югославии, я никогда не написал бы таких теплых строк. Расхваливать хозяев, сидя у них же в гостях, едва ли прилично. Но поезд уже подошел к самой границе. Никто не заподозрит меня в грубой лести. И последнего сербского чиновника я встречаю в вагоне особенно нежно.

– Шта имате да явити? – смущенно краснея, спрашивает он, стоя в дверях купе третьего класса и нерешительно показывая глазами на наши корзины.

– Ништа, господине... Само домашни ствари. Позвольте... Ба!

– Это вы? – изумленно всматривается в меня чиновник.

– Полковник Бочаров! Неужели?

– Он самый... Не узнали в форме? Куда едете? Далеко? Вот приятная встреча!..

*«Возрождение», Париж, 31 января 1926, № 243, с. 2.*

#### IV.

Всем, едущим из Парижа в Югославии или обратно, не бесполезно знать, что у них будет пересадка на австрийской станции Шварцах.

Так как пересадка эта предстояла нам ночью, в 4 часа, то, конечно, я предварительно подготовил к этому событию всю кондукторскую бригаду поезда, объяснив, насколько мне спешно нужно в Париж и насколько сильно пострадает русская эмиграция во Франции, если я просплю Шварцах и попаду в Мюнхен.

До Великой войны я свято верил в аккуратность немцев и в точное соблюдение данного ими честного слова. Но мы знаем, как изуродовала народные характеры война. Румыны бросили играть на скрипке, занявшись большой политикой, греки боятся голых классических ног, турки содрали с голов фески, французы стали меланхоличными, русские – подвижными, англичане – многословными.

Ясно, что коренная перемена должна была произойти и в немцах, тем более, что с изменением контура границ государства всегда изменяется и его психология.

– Поставь-ка, Ваня, будильник, – посоветовал я, раскрывая один из своих чемоданов. – В эпоху всеобщего расцвета демократизма, нам лучше всего рассчитывать на свои собственные скромные аристократические силы.

И, может быть, такое общее суждение было слишком сурово. Но что делать, когда русскому беженцу уже восемь лет совершенно не на кого положиться на земном шаре?

На что благожелательно относится к нам Лига Наций... А и то, когда Нансен получил в Советской России концессию, ведь нам ничего не перепало от этого полярного филантропа!

Кондуктор-австриец, конечно, опоздал. Вернее, не опоздал, а спокойно сообщил о прибытии на Шварцах только тогда, когда поезд уже остановился, а мы, открыв все окна коридора, начали ураганный обстрел станции своими вещами. Будильник, молодчина, оказался аккуратнее и точнее всякого немца. Поставленный на пол, он за час до прибытия лихо залился бурмалиновым звоном. А так как у него есть дурная привычка вертеться и бегать, пока звон продолжается, то вышло даже слишком торжественно. Вынырнув из-под скамьи, он кинулся в соседнее купе к какому-то почтенному немцу, быстро поднял его на ноги, пострекотал над ухом испуганно бросившейся бежать старой тирольки и, выдержав неожиданную борьбу с фокстерьером, запрятанным старухой в корзину с бельем – с победным призывом прошелся взад и вперед по всему коридору.

– Пора соединяться с Германией? – воскликнул спросонья, протирая глаза, мой сосед шваб. И сконфузился.

\* \* \*

Когда то, лет пятнадцать назад, я проезжал этот путь – Зальцбург, Инсбрук, Букс, Цюрих... не было со мною тогда пустой коробки от Блигкена и Робинсона, чайника, металлической кружки, и в кармане неопределенного документа, обидно начинающегося словами: «le présent certificat n'est pas<sup>32</sup>».

Был тогда я гражданином Российской Империи, на меня без всякого соболезнования смотрела встречная немецкая старуха, не качал головой, вздыхая, долговязый спортсмен, влюбленный в свои лыжи и в снежную наклонную плоскость.

С Россией вежливо разговаривали не только короли и министры, даже дежурные буфетчицы на глухих пересадочных станциях и те с подобострастным любопытством подавали кофе, «bitte schon!»

Жалость даже к личной неудаче иногда оскорбляет. А тут – майн герр с птичьим пером на голове жалеет сто миллионов людей... сто миллионов!

Дурак.

Что осталось таким же, как раньше, – зелено-голубой Инн, дымящаяся пургой скалы у неба. Тот же черный сосновый лес, с проседью снега в волосах, те же гримасы голого камня, улыбка и ужас, застывшие некогда, в ожидании завоеваний революции земной коры.

Толпы белых гигантов, ярко-синее небо, голубая река. И лиловые провалы ущелий... Не изменилось ничего! Только лыжи новые у тех, что беспечно скользят там, вверху, да люди, должно быть, другие. И разве можно нам бояться за нашу Россию?

Какая-то случайная дрянь царапает русский снег, скачет в восторге... А мы испугались: погибла земля!

\* \* \*

– Вы русские?

– Да.

Это с нами после Букса начинает беседу какой-то жизнерадостный швейцарец, едущий в Цюрих. Лицо круглое, розовое, налитое. Наверно или купец, или мелкий политический деятель.

---

<sup>32</sup> Настоящее удостоверение не... (фр.).

- Ну, что же: когда у вас большевизм кончится?
- Трудно сказать, мсье.
- Удивляюсь! Такая громадная страна и терпит насилие со стороны какой-то кучки каналов.

Этот аргумент – самый веский в устах иностранцев. На всякое другое замечание легко ответить с достоинством. Но, действительно почему такая большая страна терпит насилие со стороны такой небольшой кучки каналов, я сам часто недоумеваю. Конечно, террор, сыск, шпионаж. Да. Но террор против армии! Это как-то неубедительно: бедненькие несчастненькие солдатики... Политкомы их обижают, власть оскорбляет, а они, беззащитные, терпят...

– Вы не знаете, что такое коммунистическая организация, мсье, – защищая достоинство чересчур терпеливого народа, говорю, наконец, я. – Эта компания умеет пользоваться всеми средствами для сохранения власти.

– Да, да, отлично знаю. Но, все-таки, этих людей не так уже много в России.

– Зато они в центрах, мсье. И весь аппарат в их руках. А население, сами знаете, разбросано, не организовано, безоружно.

– Ну так что-ж, что разбросано? Вот, здесь, в нашей Швейцарии... Горы тоже разъединяют население. Верно? А, между тем, Вильгельм Телль у нас был!

Он встает, вздыхает, снимает с полки чемодан. Поезд подходит к Цюриху.

– Вы наверно не знаете, с кем разговаривали, мсье, – после ухода добродушного пассажира говорить мне с улыбкой молчаливо сидевший до сих пор в углу молодой швейцарец.

– Да, не знаю, конечно...

– Это, цюрихский домовладелец... Штейнберг. По национальности еврей.

– Что вы сказали?

– Еврей.

*«Возрождение», Париж, 4 февраля 1926, № 247, с. 4.*

## V.

Наконец, мы в Париже. Нырнули с Гар-де-л'Эст в океан человеческих тел, зацепились за случайный утес какого-то серого отеля, под которым непрестанно шумит прибой автомобильной волны... И исчезли для родных и знакомых. Растворились.

Кто нам нужен в этом мировом центре, и кому мы нужны, до сих пор мне не ясно. Но раз другие бегут, озираются, вскакивают на лету в автобусы, проваливаются под землю в метро, и считают все это величайшей мудростью и достижением в жизни, значит, так надо. Будем и мы достигать.

Конечно, за десять лет скитаний по югу России и тихого балканского существования в эмиграции я отвык от шума и грохота больших городов. Научился переходить улицу, не отрываясь от дум, которые овладевают на тротуаре. Иногда даже останавливался посреди мостовой, когда внезапно приходила в голову любопытная идея, доставая из кармана блокнот, записывал афоризм или сентенцию. Еще лет пять, восемь, такой мудрой и тихой жизни, кто знает, быть может, вышел бы из меня новый Кант, тоже не покидавший никогда Кенигсберга. Но теперь, в Париже, вижу ясно, все кончено для моей философской карьеры. Даже Октав Мирбо<sup>33</sup> начинает казаться в этом городе недостижимым идеалом сосредоточенной вдумчивости.

---

<sup>33</sup> Октав Мирбо (1848–1917) – французский писатель, драматург, художественный критик.

Жить в Париже – действительно, целая наука и для ее изучения безусловно следует открыть при Сорбонне особый факультет. Начиная от пируэтов «данс макабр»<sup>34</sup> среди гущи такси и кончая религиозно-нравственными воззрениями консьержек. Необходимо иметь кафедры по географии пересадок, по превращению одного бульвара в другой, по теории сочетания букв алфавита в автобусах. И по физиологии оглушенного слуха или ослепленного зрения. И по логике квартирных цен. И по теории познания окраин.

\* \* \*

Вот, сижу я уныло в своем номере, смотрю в окно на бензиновую вакханалию улицы и думаю: где же русскому беженцу жить хорошо?

Иногда кажется, что небольшие города наиболее благоприятны для нас. Действительно, все живут рядом, бок о бок, каждый день могут встречаться. По вечерам всегда есть какое-нибудь развлечение. Или инженер Михайловский делает доклад о своей собственной теории мироздания, или Анна Константиновна декламирует «Белое покрывало» у Тютюриковых на именинах, или какой-нибудь бравый генерал читает лекцию на тему: «Россия через сто лет и позже».

Таким образом, в маленьких городках связь между русскими никогда не порывается, а, наоборот, быстро крепнет. Иногда даже достигает такой крепости, что начинает напоминать цепи скованных друг с другом преступников.

И это уже оборотная сторона небольших городов. Тяжелые последствия прочных уз никогда не медлят сказаться. Против метеоритной теории инженера Михайловского не может не выступить с резким обличительным докладом штабс-капитан Иванов, утверждая, что вселенная образовалась не из метеоритов, а из газовых вихрей. В пику Анне Константиновне Вера Николаевна спешно организует «Кружок стихотворений Агнивцева», группируя вокруг себя молодежь. И в противовес генералу, читающему лекции о будущем, выступает бывший преподаватель гимназии, в ряде сообщений развивающий исторические тезисы:

– Что было бы, если бы Дмитрий Донской не разбил Мамаю на Куликовом Поле?

Или:

– Мешало ли Василию Темному управлять государством отсутствие зрения?

Нет нужды добавлять, что параллельно с полемическими докладами, лекциями и мелодекламацией в небольших городах всегда очень часты разводы, дележ детей между расходящимися родителями и резкие беседы на улице:

– Пожалуйста, передайте Петру Ивановичу: если я снова буду губернатором в России, пусть и не думает показывать носу в мою губернию!

\* \* \*

Мировые центры тем хороши, что, расплыясь в них, русские редко видят друг друга. Точно островки, разделенные бурными потоками, одиноко уютятся в отеле муж с женой, становясь на двадцатом году супружества молодоженами. Идиллически нанимают одну комнату губернатор и тот Петр Иванович, который не должен показывать носа в губернию. И повсюду тоска по своим:

– Хотя бы повидать Анну Константиновну! Что она делает, бедненькая, возле «Порт Версай»?

---

<sup>34</sup> Пляска смерти (*фр.*) – средневековый аллегорический сюжет в живописи и словесности.

Вместе тошно, врозь скучно. Удивительная природа у русского человека! Очевидно, на этом противоречии и держится наша широкая психология. С одной стороны Мармеладов, которому нужно куда-нибудь пойти. С другой стороны, монастыри и средняя разновидность Онегиных, бегущих от знакомых к торжествующему крестьянину и птичке Божьей.

Итак, где лучше нам, – неизвестно. Во всяком случае, приехав в Париж, я мрачен, угрюм. Конечно, высота культуры здесь чудовищна. Не спорю. Вроде моего шестого этажа. В умывальнике, например, есть кран, на котором написано «шо»<sup>35</sup>. Правда, из него течет такая же точно вода, как и из крана «фруа»<sup>36</sup>, но где встретишь на Балканах подобный комфорт? И отопление центральное, не то, что ужасные сербские железные «фуруны». Накинув пальто, подхожу к свернувшемуся у стены металлическому удаву, пробую рукой. Теплый. Безусловно, для нагревания, не для охлаждения комнаты. Только как его разогреть? В Петербурге у меня в годы войны для этой цели была спиртовая печь. Но в отеле, здесь, спиртовку зажигать воспрещается...

Очевидно, беженцам только там хорошо, где их нет. Хотя знакомый доктор писал как-то из Абиссинии, что у них очень недурно, а приятель летчик давно зовет меня и Ивана Александровича в Джедду, в Геджас, но теперь я не попадусь ни на какие соблазны. Ведь посмотреть только на эту гигантскую двуспальную кровать, которая стоит в номере, самоуверенно заняв все пространство. Что делать с нею, бесстыдно раскинувшейся? Вполне возможно, что для писания бульварных романов с возвышающей любовной интригой она – незаменимая вещь. Но у меня вкус старомодный, я поклонник Пушкина, Тургенева и Толстого, а разве эти учителя в своих произведениях когда-нибудь исходили из кровати, как художественного центра?...

Нет, глупо, глупо сделал, что уехал из Сербии. Милая моя квартирка, с дверью, облепленной снегом, где ты? Печка железная, – как любил я подкладывать в тебя сухие дрова!.. Ведра мои, в вас бежала такая чудесная прозрачная вода... Кипятил бы я эту воду на плите, пил чаю, сколько хотел... Веник мой, пушистый, длинный, чья рука теперь лазит с тобой по углам комнаты, под столами и стульями?

- Ты будешь сегодня писать? – уныло спрашивает, кутаясь в шубу, Иван Александрович.
- Нет.
- Отчего?
- Устал. Переходил два раза поперек бульвара Осман.

*«Возрождение», Париж, 8 февраля 1926, № 251, с. 2.*

---

<sup>35</sup> Chaud – горячий (фр.).

<sup>36</sup> Froid – холодный (фр.).

## Драгоценные свойства

Один приятный молодой человек, усердно занимающийся в последнее время партийной деятельностью, как-то при мне жаловался на днях в одном почтенном политическом собрании:

– Понимаете... Это совершенно несознательный элемент в эмиграции... Галлиполийцы...

– В самом деле? А что?

– Да, вот, представьте. Попал вчера я в их компанию. Много говорил о том, о сем. Перешел, наконец, к животрепещущей проблеме – какая политическая концепция была бы наиболее правильной в создавшейся ситуации. А они сидят, курят, слушают. И молчат.

– Ну, что же, господа? – спрашиваю, наконец, не вытерпев. – Ясно вам это теперь с точки зрения логической, психологической и социальной? Или не ясно?

– Неясно, – отвечают хором.

– Почему же неясно?

– Не было приказа Главнокомандующего.

Долго после этого при мне, охая и стеная, беседовали о галлиполийской несознательности молодой политик и старый. Молодой пространно говорил что-то о базисе; старый главным образом налегал на тезис. А я сидел в сторонке и думал:

– Слава Богу. Значит, есть еще в эмиграции люди, которые повинуются приказам, и вместо собственных решений ожидают распоряжений. Ведь, в самом деле: если бы не галлиполийцы, кто бы у нас повиновался? Все эмигранты, как известно, только распоряжаются. Спросите случайного беженца из штатских: чей авторитет он, главным образом, признает? Конечно, свой. Если вы поговорите с ним по душе, он даже сознается, что у него есть свое собственное маленькое общество, в котором он состоит председателем. Члены этого общества, правда, немного обижены, что председатель именно он, а не они. Но в виде компенсации каждый из этих членов обязательно имеет собственный кружок, в котором тоже председательствует, которым тоже руководит.

Таким образом, в сущности, все беженцы в настоящее время председатели. В Париже, например, я не председателей до сих пор не встречал. Говорят, в прошлом году было здесь два таких, не попавших ни в какое правление. Но подобное ненормальное состояние продолжалось недолго. Один впал в отчаяние, разочаровался в эмиграции и уехал в СССР, а другой неожиданно бежал в Уругвай. Кто-то при нем обмолвился словом, будто в Уругвае председательствовать некому.

Вообще, если бы не повинующиеся галлиполийцы, ждущие распоряжений, я бы даже не мог сказать, как образовать нам эмигрантам, противобольшевицкий фронт? Для такого фронта штабов, конечно, сколько угодно, командиров не меньше. Все – председатели. Есть хоры трубачей, барабанщики, знаменосцы свернутые и развернутые, есть Красный крест, санитары. А фронт? Где фронт? Кто на фронте?

Где, собственно те, которые могли бы взять под козырек и сказать: слушаю-с?

Галлиполийцев я люблю и уважаю именно за это редкое качество. Ведь, нечего скрывать: без начальства не только военный, даже штатский, русский человек и тот теряет значение. Качается, как былинка в чистом поле, никнет к земле. Сколько беженцев я знаю разумных, крепких, даже величественных в те времена, когда было кому повиноваться. И вот пришло освобождение, сами стали себе председателями, – и растерянность в глазах, и грусть, и тоска...

Люблю я галлиполийцев и за другое драгоценное качество: молчаливость. Конечно, ораторы народ полезный, спору нет. Когда их немного. Точно так же, как председатели. Но если в ораторы идет слишком много народа, и в слушателях остается все меньше и меньше, – это уже неприятно. На одном беженском собрании, например, я наблюдал как-то жуткое зрелище:

на трибуне одиноко сидит покорный слушатель, слушает, а зал бурлит, кипит. Весь заполнен очередными ораторами.

Галлиполийцы не любят звонить во все колокола. В виде символа – у них остался там, на полуострове, скорбный памятник – каменный колокол. Не нужно этому колоколу языка, чтобы вещать. Не нужно меди, чтобы звучать. Безмолвно стоит он на виду у проходящих народов. Немой, как те, кто возле него, в земле, сурово говорит о выполнении долга, не играя с солнцем заманчивой облицовкой.

Но в затаенном молчании его каждый слышит все, что необходимо для воина. Крест памятника украшает его грудь. Черный крест непримиримости к врагу во имя золотого креста храмов. Образ надгробного камня в памяти его – во имя грядущей радости благовеста.

И вот почему нет у галлиполийцев лишних слов. Вот почему повинуются. Все пережито. Все едино. Есть испытанная грудь, есть общий крест...

Будет и приказ Главнокомандующего.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 13 мая 1926, № 345, с. 5.*

## На выставке

Хожу по залам «Шарпанье», на выставке картин Яковлева, стою подолгу перед пейзажами Сахары, любуюсь озером Чад, воздушными мимозами Нигера, причудливыми горами Мозамбика... И радостно на душе, что весь этот поток посетителей-иностранцев, все эти одобрительные замечания, иногда даже выражения восторга и удивления перед мастерством художника, что все это относится к нашему талантливому соотечественнику. Слава Богу, нам есть чем гордиться. Не желая расставаться с одним из полотен, посвященным Сахаре, в котором столько задумчивой прелести, столько мистической притягательности, сажусь на диван, продолжаю смотреть. А рядом со мною на диване какая-то старушка. Уставилась странным страдающим взглядом на картину, изображающую баобаб у берегов Нигера, вздыхает, достаёт платочек из сумочки, прикладывает к глазам.

– В чем дело? – с удивлением скашиваю на нее глаза.

– Есаул, идите-ка сюда! – слышится, вдруг, сзади меня среди общей тишины. – Бросьте свои черные морды, хватит.

– Погодите, Матвей Дмитриевич, дайте доглядеть, – отвечает громкий уверенный голос. – Может еще кого-нибудь из знакомых встречу. Недаром, слава те, Господи, в Бельгийском Конго два года околачивался. А что, нашли Мадагаскар?

– Нашел, да. Вот номера 84 и 85. «Хо плато» и прочее.

– Иду сию минуту. Взгляну только еще разок на своего Лубенго. Приятели как-никак были. Главное, разделся-то как, а? Фу ты, ну ты... Ножки гнуты... При мне на праздничке луны и то в таком одеянии не появлялся. Очевидно, специально для художника нацепил. С чего только похудел, бедняга? Запил, что ли? Или лихорадка?

– Здесь и столица Мадагаскара Тананариве имеется, есаул, смотрите, – продолжает звать второй русский, переходя к новой картине, и внимательно сверяя номер с каталогом. – Общий вид из дворца королевы...

– Общий вид? Интересно. Ту де сюит<sup>37</sup>. Дайте, пробегу только остальные, чтобы не возвращаться. Это кто? Номер 167. Жен фамм арабизе из Стенвиля. Так... Этой не знаю. Кого не знаю, того не знаю, врать не буду. И фамм арабизе, номер 168, тоже не встречал. Хотя, как будто, на одну мою приятельницу, действительно, смахивает. Мапудрой звали, в Бенгамине жила, возле лагеря. Не женщина, доложу вам, огонь! Ну, давайте теперь Мадагаскар. Где он? Не верю только, дорогой мой, в вашу идею, скажу, откровенно.

Оба русских, один бравый, высокий молодой брюнет, другой скромный старичок с маленькой седенькой бородкой, стоят у стены, внимательно рассматривают мадагаскарские пейзажи.

– По-моему, дрянь, – после некоторого молчания, громко, с пренебрежением, произносит, наконец, есаул.

– То есть как дрянь? – обидчиво поворачивает голову старичок. – Не нравится?

– Конечно, не нравится. Уныло очень. Ни пальм тебе, ни водопада. Лысо кругом. Разве это местность?

– А я думаю, для нашего плана колонизации, это наоборот, большое достоинство. Поглядите только, какая возвышенность. Плато!

– Ну, так что же, что плато? У нас в Катанге тоже плато.

– И горы, обратите внимание, какие удобные: гладкие, пустынные. Леса не имеется, значит выкорчевывать нет необходимости. А это уже половина экономии. Затем, спуски, видите, покатые, пахать можно со всех сторон.

<sup>37</sup> Tous de suite – все люкс (фр.).

– Относительно вспашки не спорю. Правда, удобно. Только есть ли вода? Кстати, Кругликов в министерстве колоний уже был?

– Обещал завтра пойти. Со всеми прошениями, и от нас, и от Сопроновых. По-моему, есаул, если дадут даром, брать надо, не рассуждая. Вы поглядите, например, на рисовые поля, номер 87. Разве плохо? И дома в Тананариве, как дома, отлично жить можно. Хотя ярко-красные, оригинальные, но, во-первых, может быть, это сам художник для модернизма лишней краски подпустил, а во-вторых, не все ли равно, в конце концов, какого вида дом? Лишь бы с освещением и отоплением. Я, вот, к мадагаскарским портретам тоже приглядывался. В той комнате. Гарсон мальгаш, по-моему, славный мальчик. И у вождя Разулианана лицо тоже недурное. Открытое, прямое. Сойдемся с ним, я уверен.

– А женщины интересные? Видели?

– Одна, кажется, есть. Под номером 217. Да. В следующем зале. Написано «фам мальгаш де ла каст инферьер»<sup>38</sup>. Для «каст инферьер», по-моему, довольно приличная. Впрочем, этот вопрос вы уже, голубчик, сами обследуйте. Это меня, старика, не касается.

– Да, да. Конечно. Погляжу сам. Какой номер говорите? 217? Где? Там? А, ну-ка. Посмотрим!

Оба русских исчезают в соседнем зале. Снова тихо. Молча, иногда переговариваясь шепотом, проходят мимо иностранцы, останавливаются, отходят, возвращаются снова, замороженные каким-нибудь из пейзажей.

– Софья Андреевна?... И вы здесь? Каким образом?

– А... Здравствуйте...

– Здравствуйте, дорогая! Как я рада. Неправда ли хорошо? Замечательно! В особенности, эти крепюскюль... И лэз ото дан ле дезер<sup>39</sup>... Сахара, вообще, у него изумительна. И пожары в бруссе<sup>40</sup>. Хотя знаете, его дессен мне все-таки больше нравятся, чем пентюр<sup>41</sup>. Заметьте, что такая масса портрэ<sup>42</sup> – дикарей, а в каждом есть все-таки своя индивидуальность... Я целый час простояла перед неграми в том зале, пока муж, наконец, не запротестовал... Вы не догадываетесь, конечно, в чем дело. Но так как все равно по-русски никто не понимает, скажу по секрету: через пять месяцев, понимаете, я ожидаю это самое... бэби. Так вот и муж боится, как бы не повлияло. А вы что такая грустная? Нездоровится?

– Нет, ничего.

– Все уже осмотрели? Или только что пришли?

– Уже давно... Я вот, только ради этого... Нигера. На баобаб гляжу.

– На баобаб? О, да! Баобаб бесподобен. Действительно. Какая мощь, какая сила! И вы заметьте: даже дупло не вредит впечатлению. Одно бы я сказала – жаль не даны боковые ветви и ветви вверху. Если бы художник взял дерево в другой перспективе и изменил бы масштаб, весь баобаб вошел бы в поле зрения и тогда... Что с вами? Дорогая моя! Вы плачете?

– Нет, нет. Ничего. Пустяки... – Старушка с виноватой торопливостью проводит платком по глазам, горько улыбается сквозь слезы. – Ведь, у меня, если помните, на Нигере Шура, – тихо произносит она. – Третий год у англичан служит по лесному хозяйству.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 18 мая 1926, № 350, с. 3<sup>43</sup>.*

<sup>38</sup> Femme malgache de la caste inférieur – мальгашская женщина низшей касты (фр.).

<sup>39</sup> Crépuscule... [И] les auto dans le désert – сумерки... [И] машины в пустыне (фр.).

<sup>40</sup> Brousse – чаща, поросшая кустарником (фр.).

<sup>41</sup> Dessin... peinture – рисунки... живопись (фр.).

<sup>42</sup> Portraits – портреты (фр.).

<sup>43</sup> Также напечатано под названием «Чистое искусство» в сборнике «Незванные варяги» (Париж: Возрождение, 1929), с. 81–84.

## Вокруг света

### 1.

Заседание Лондонского географического общества подходило к концу. Резюмировав прения, председатель обратился к сидевшему в первом ряду Филеасу Фоггу с торжественным вопросом:

– Мистер Фогг! Итак, решаетесь ли вы, после всех поставленных вам условий, на путешествие вокруг света в восемьдесят дней без новейших способов передвижения?

– Да, сэ, – невозмутимо ответил Филеас Фогг, не вынимая сигары изо рта.

– Вы обязуетесь не говорить за все время путешествия ни на каком языке, кроме английского?

– Да, сэ.

– Вы согласны на маршрут, выработанный в настоящем заседании и включающий в себя: Сан-Сальвадор, Мексику, Калифорнию, Сандвичевы Острова, Японию, Китай, Индостан, Аравию, Тунис, Гибралтар, Лондон?

– Да, сэ.

– В таком случае, мистер Фогг, срок на премию в 500 тысяч фунтов начинается с завтрашнего утра в 10 час. 30 мин. по Гринвичу. Объявляю заседание закрытым.

### 2.

Мистер Фогг сидел на корме огромного океанского парохода в длинном лонгшезе, положив для удобства одну ногу на пароходный компас, и читал газету. Через 5 часов 25 минут после отхода он заметил, что около него вертится какой-то незнакомец и старается заговорить.

– Послушайте, джентльмен, – проговорил, наконец, Фогг, прочитав газету до конца и убедившись в последней строчке, что редактор газеты не переменялся. – Я вижу, как будто, что моя личность представляет для вас исключительный интерес?

– Вы угадали, сэ, – ответил незнакомец на плохом английском языке. – Я хотел вам предложить свои услуги, сэ. Я все могу, сэ.

Филеас Фогг, который ничему не удивлялся уже 23 года, не удивлялся с тех пор, когда его бросила жена, бежавшая с одним полярным путешественником, был несколько изумлен предложением иностранца. Он докурил сигару, внимательно следя за ее пеплом, и сказал, наконец:

– Я не знаю, что вы можете, милостивый государь. Но, надеюсь, вы не сапожник и не авиатор в одно и то же время?

– На этот раз вы не угадали, сэ, – спокойно возразил незнакомец. – Я именно и сапожник, и авиатор одновременно. Если же вам, сэ, нужен, кроме того, машинист на пароходе, повар, шофер, плотник, прачка, скрипач, артиллерист, официант, переписчик на машинке, чертежник, землемер, печник и дровосек, – то я тоже к вашим услугам.

– Не исключая фотографа? – спросил озадаченный Фогг.

– Разумеется, не исключая, сэ, – быстро согласился незнакомец. – Фотография сама собой подразумевается. О ней не стоит упоминать так же, как и о гравировке по меди, которую я знаю в совершенстве.

– Так, – задумался, нахмурившись, Филеас Фогг. – Это превосходно. Подобные специалисты, не спорю, особенно полезны в кругосветном путешествии. Но... кто вас может рекомендовать?

– Прежде всего, – я сам. Ну, а кроме того, все правительства всех стран, сэр, – ответил незнакомец, забираясь рукой в карман и доставая оттуда пачку бумаг.

– Вот, извольте взглянуть: здесь, на этом документе, 35 виз. На другом, будьте добры убедиться, 48. Итого 83. Далее: короткое путешествие с 14 визами. Это прогулка в одну дачную местность, в окрестности. Затем: легитимация, сертификат, карт д-идантитэ, дозвола на живот...<sup>44</sup>

– Достаточно. Разрешите узнать вашу национальность и имя?

– Что касается национальности, сэр, то она ясно выводится из предъявленных вам документов: в них определенно значится, что я подданный великой Горской республики. А имя мое, сэр, Иван-Петров-Заде-Ага. Это довольно длинное имя, правда; я сам иногда бываю им недоволен. Но никто не мешает вам, сэр, для простоты обозначения называть меня кратко: Паспарту.

– Я беру вас! – твердо произнес Филеас Фогг, подумав 3 минуты 18 секунд. – С двенадцати часов вы находитесь у меня на службе, мистер Паспарту.

### 3.

В Сан-Сальвадор пароход прибыл днем. Сойдя на пристань, Филеас Фогг обратился к носильщику с просьбой отнести вещи в автомобиль лучшего отеля. Но носильщик не понимал.

– Эти парни лопочут не то по-португальски, не то по-испански, – рассердился Паспарту. – Погодите, сэр. Я сейчас отыщу настоящего туземца.

Он взобрался на стоявший у пристани ящик, сложил ладони в трубку и зычно крикнул на непонятном Филеасу Фоггу наречии:

– Господа! Э-эй! Кто из вас тут земляки? Иван Иванович, Михаил Степанович, Сидоров, Карпов, отвечай!

– Я, Федоров! – послышался радостный голос одного из грузчиков. – Здравствуйте, земляк. Вот приятная встреча!

Иван-Петров-Заде-Ага облобызался на глазах у удивленного Филеаса Фогга с Федоровым, расспросил его обо всем и уверенно повез своего патрона в отель, указывая достопримечательности местности и ту вершину, которую впервые увидел с моря Христофор Колумб.

– На каком языке вы объяснялись с вчерашними рабочими? – спросил Филеас Фогг на следующий день Паспарту, когда тот, заменив больного гостиничного шофера, вез своего патрона в окрестности города.

– На туземном, сэр, – отвечал Паспарту. – Здесь живет одно старое уцелевшее племя, и я на досуге изучил его язык. Не угодно ли, между прочим, вам, сэр, заехать в гости к одному из этих туземцев?

– Я очень рад, что взял вас на службу, Паспарту, – величественно произнес Филеас Фогг. – Везите меня к туземцам. Вы незаменимы, Паспарту.

– Не то еще будет, сэр, – скромно потупив глаза, ответил Иван-Петров-Заде-Ага.

### 4.

Колонисты встретили земляка радостными расспросами. «Откуда? Как? Почему?» Паспарту усадил Филеаса Фогга у стола и стал рассказывать о том, сколько ему за последние годы пришлось испытать мытарств.

---

<sup>44</sup> Carte d'identité – удостоверение личности (фр.); разрешение на жительство (сербск.).

– И теперь, видите, служу у этого рыжего болвана, – закончил он свое повествование, показывая пальцем на Фогга, который в ответ торжественно кивнул головой. – С жиру взбесился от своих стерлингов, поехал осматривать земной шар.

– Дурак, – грустно согласился седой полковник, хозяин избышки. – Я понимаю еще интерес к разным частям света, когда нужно устраиваться. Но имея деньги и отечество... Осел!

– Вы слышите, сэр? – спросил Паспарту Филеаса Фогга. – Туземцы вас приветствуют.

– Передайте им мою благодарность, Паспарту, – прочувственно ответил Филеас Фогг. – Я очень тронут.

И он снисходительно стал осматривать внутренность хижины. Ему понравились вышивки крестиками, которые делают своими руками туземки Сан-Сальвадора. Он внимательно разглядывал изделия из местного дерева в виде мундштуков, корзиночек, табакерок. Он купил даже на память одну коробочку с узорами, выжженными по дереву очень искусно и со вкусом. Уезжая в город, он благодарил туземцев и спросил Паспарту, указывая на стоявший в углу вылепленный из местной глины бюст Пушкина:

– Это что такое?

– Их Бог, – спокойно ответил Паспарту. – Если вы им оставите десять фунтов, сэр, они целый год будут покупать благовонные травы в виде папирос и курить перед Богом фимиам в вашу честь.

## 5.

Мексику и Калифорнию путешественники миновали благополучно. В Калифорнии, впрочем, на железной дороге произошла однажды задержка, так как через поврежденный водою мост машинист не хотел вести поезд.

– Паспарту, мы опоздаем, – грустно сказал Филеас Фогг, заглядывая в карманный календарь. – Что нам делать, Паспарту?

– Не беспокойтесь, сэр, – ответил Петров-Заде-Ага. – Я на этой станции познакомился с одним индейцем по имени Голопупенко. У него есть несколько верных товарищей... Если вы хорошенько заплатите, они высадут машиниста, и сами перевезут нас на ту сторону.

Филеас Фогг согласился. Деньги были уплачены, время было выиграно.

По Тихому океану почти до самых Сандвичевых Островов плыли благополучно. Только за день до прибытия к островам захватил сильнейший шторм, и повара так укачало, что никто не решался попробовать приготовленного им в состоянии болезни супа.

Филеас Фогг был в унынии.

– Дорогой мой, – сказал он Паспарту, – если я не съем сегодня супа, я потеряю 152 калории. Нельзя ли предотвратить это несчастье?

Паспарту думал недолго. Пошел на кухню, уложил повара на кровать, сам приготовил борщ. Борщ вышел на славу, и даже капитан судна приходил к Филеасу Фоггу и спрашивал:

– Где вы достали такого золотого человека, сэр? Он – англичанин?

– Почти, – уклончиво ответил Филеас Фогг, – я отыскал его на предгорьях одной из английских колоний.

## 6.

В Гонолулу мистер Фогг был поражен не на шутку. Когда пароход ошвартовался, Паспарту, стоявший у борта, вдруг, вскрикнул и яростно замахал платком.

– Петя, ты? Не может быть!

– Ваня! Какими судьбами?

– Из Калифорнии вокруг света еду! А ты как здесь? С каких пор?...

– Из Феодосии – прямо. Ну, и сюрприз! Как жена удивится! Ты один? Слезай скорее, сходни поставили!

– Паспарту, – сказал Филеас Фогг, трогая за плечо Ивана-Петрова-Заде-Агу. – С кем вы беседуете?

– С туземцем, сэр, – ответил радостно Паспарту. – Мы с ним большие приятели. Быть может хотите, сэр, опять посмотреть, как живут местные жители?

– Я согласен, – задумчиво ответил Филеас Фогг, с завистью глядя на Петрова-Заде-Агу. – Но скажите, пожалуйста, Паспарту: вы не совершали раньше двадцати или тридцати поездок вокруг света?

– Девятый год непрерывно ездю, сэр, – скромно ответил Паспарту. – У нас тоже, ведь, как и у вас, есть географическое общество... Только число действительных членов в нем чересчур велико: два миллиона человек, не считая родственников.

Филеас Фогг вздохнул. Он не понимал до сих пор, кто же такой, наконец, этот загадочный Паспарту. Но сознаться в незнании того, где находится Горская республика, Филеас Фогг не мог. Для этого он был слишком известный географ.

## 7.

С Паспарту Филеас Фогг ехал, к сожалению, только до Китая. В Шанхае в одно прекрасное утро, получив жалование за месяц в размере 300 фунтов, Паспарту, вдруг, исчез, оставив Филеасу Фоггу записку, в которой говорил, что покидает патрона, обещает зайти к нему в Лондоне на квартиру и объяснить там подробно причину ухода. Филеас Фогг впал в уныние. Он так привык к Паспарту, к его обширным знакомствам на земном шаре, к его умению объясняться со всеми туземцами, расспросить – по какой улице идти, за какой угол завернуть, – что вначале на почтенного географа напала хандра. Однако, до конца срока оставалось всего 47 дней.

Кое-как поборов уныние, Филеас Фогг проехал в Бомбей, оттуда на слонах и верблюдах в Мекку, добрался до Порт-Саида, перекочевал в Тунис и через Гибралтар вернулся в Лондон ровно через 80 дней, считая и один пропущенный день из-за вращения земли вокруг собственной оси.

Било 10 часов 30 минут по Гринвичу, когда в зал заседания Лондонского географического общества открылась дверь, и на пороге появился Филеас Фогг...

## 8.

В тот же день мистер Фогг случайно встретил Паспарту на Даунинг-стрит.

– Паспарту, вы?

– Я, сэр.

– Каким образом? Давно?

– Уже около месяца, сэр. Открыл здесь лавку, обзавелся квартиркой. Женился, сэр. Все, благодаря вашему жалованью, большое спасибо.

– Паспарту!.. – побледнел Филеас Фогг, схватывая Петрова-Заде-Агу за руку. – Как же так? На месяц раньше меня? Почему вы бежали от меня, Паспарту?

– Сэр, – искренно произнес Паспарту, пожимая руку джентльмена, – не сердитесь. Но скажу вам правду: уж очень вяло плелись мы с вами по земному шару. Члены нашего географического общества, сэр, не привыкли к такой медлительности!

*Из сборника «Незванные варяги», Париж, «Возрождение», 1929, с. 9–17.*

## Нужно устранить причину

Есть у меня приятель – один русский скаут. Живет он в соседнем дворе с родителями, когда возвращается из колледжа, помогает маме готовить обед, носит воду, моет посуду, чистит картофель, отдирает усики у пти пау<sup>45</sup>. И когда суп варится на газовой плите, а мама хлопочет возле стола, он задумчиво смотрит на шипящий огонь, время от времени дергает рычаг, чтобы исследовать разницу в звуке горения, – пренебрежительно замечает, вспоминая прошлогодний скаутский лагерь в Пиренеях: – А на костре, все-таки, шикарнее варить! Ни один уважающий себя индеец никогда не согласился бы готовить пищу на газе.

Иногда, в свободное время, Вася приходит в гости и к нам. Взрослые обыкновенно ведут между собою скучные разговоры о мэзон де кутюр<sup>46</sup>, о дороговизне жизни, о франке, а мы с ним сидим на длинном деревянном ящике, превращенном в диван, и он рассказывает, как хорошо жить в палатках, где со всех сторон поддувает, как интересно прогуливаться по горам, только не там, где проходит дорога, а сбоку. И с любопытством спрашивает в свою очередь меня, всякий ли меридиан может перевалить через крутой горный хребет или не всякий, и почему ученые ошиблись, назвав Большую Медведицу – медведицей, когда она совсем не медведица, а просто кастрюля.

Вася мне нравится тем, что скаут он правоверный, строго соблюдает все правила, любит свою форму, девизу скаута «будь готов» никогда не изменяет. Я сам наблюдал сцену, как на базаре в воскресный день он взял у какой-то трясущейся старухи большую корзину с провизией, чтобы помочь донести до дому, и какой вой подняла вдруг старуха, решившая, что скаут с корзиной удерет. На моих глазах точно так же Вася как-то помог соседнему дачнику поднять упавший забор, и был до глубины души оскорблен, когда хозяин сурово, порывшись в карманах и, протянув мальчугану медное су, заметил, что больше не даст, так как никого не просил вообще помогать.

Ложась спать, Вася обычно кладет под тюфяк свой тупой длинный нож на случай нападения разбойников или диких зверей. И, хотя чувствует, что на перекрашенный папин костюм или туфли мамы слишком большая организованная шайка во всяком случае не нападает, и хотя хорошо знает, что на появление львов и тигров в Париже и в окрестностях надежды не много... Но все-таки мало ли что может случиться! А вдруг разбойники ошибутся номером? А львы выскочат из Жарден дэ плант<sup>47</sup>?

Две последние недели я Васю не видел. Все свободное время он посвятил инвалидному дню, ходил с поручениями, разносил книжки с квитанциями. И только вчера вечером объявился, наконец, придя ко мне один, без родителей, торжественно заявив, что ему нужно переговорить со мной очень серьезно.

– Ну, говори, бледнолицый, – усадив его на диван, деловито сказал я, удивленный таким необычным визитом. Между прочим, мы с ним в последнее время сильно увлекаемся Жюль Верном, Майн Ридом и Купером. По нашему единодушному мнению, это единственная в мире литература, от которой никогда не хочется спать.

– У нас большая неприятность, дядя Том, – печально произнес Вася, задумчиво разглаживая на коленях ленточку своей широкополой шляпы. Вы понимаете, мы можем не поехать в этом году в лагерь! Собирались, сговаривались... И вдруг... Мне особенно, знаете, жаль Жоржетту. Обещал, что обязательно приеду на будущий год, дал честное слово. И теперь, вот, надюю.

---

<sup>45</sup> Petit pois – зеленый горошек (*фр.*).

<sup>46</sup> Maison de couture – дом моды, ателье (*фр.*).

<sup>47</sup> Jardin des plantes – Ботанический сад (*фр.*)

– А кто такая эта Жоржетта? Твоя невеста?

– Не говорите гадостей, дядя Том. Жоржетта собачка. Хотя хромая и хвостик облезлый, зато какая симпатичная! На всех прогулках всегда вместе бывали. Потом устройство скалы гремучей змеи, значит, тоже опять не закончим. С Володей целую половину тропинки наверх провели, снизу массу камней поотбивали, чтобы обрыв был покруче. Хотели устроить наверху наблюдательный пункт... Оттуда, сверху, все льяносы и пампасы как на ладони видны. Если мы завладеем этой скалой, окружающие племена все равно должны выразить покорность, сопротивляться нет никакой возможности. А теперь, вот, посмотрите... Одна какая-то пустяшная вещь и все может пропасть!

Вася подробно, как мог, изложил мне причины тревоги. Утверждал, что согласился бы еще уступить, если бы в районе бывшего лагеря неожиданно открылся вулкан, или произошло бы землетрясение.

Но дело именно в том, что ничего подобного, в действительности, нет. Пиренеи стоят, как стояли, поезда в ту сторону ходят, как ходили в прошлом году, никакой лавы и пепла не наблюдается, горы не развалились, а наоборот, как пишет оттуда один знакомый мальчик, еще больше выросли, окрепли.

И, вот... Этакая гадость! Нельзя ли помочь?

– Да, да, Вася, – выслушав своего друга, подошел я к стене, на которой висит у меня карта Парижа. – Хотя указанная тобою причина и редкая, но иногда все же встречается в беженской жизни. Значит, ты говоришь, 29-го мая?

– Да, дядя Том.

– В субботу?

– Да, дядя Том.

– Сквер Рапп, номер шестой?

– Да, дядя Том.

– А ты знаешь, как туда ехать?

– О да, дядя Том. Вылезать нужно на Эколь Милитэр<sup>48</sup> и там немного пройти. Старший скаут говорит, что публика знает.

– Хорошо, бледнолицый. Все, что в моих скромных силах, я для вас сделаю.

Вася ушел обнадеженный, радостно мечтая о том, что два месяца снова, как в прошлом году, будет видеть ясное небо, спать в палатке, бродить по горам вместе с Жоржеттой, пробивать тропу к скале, с которой видны сильвасы и прерии...

А я, вот второй день сижу, мучительно соображаю, как помочь славным мальчуганам окрепнуть, набраться сил... И до сих пор беспокоюсь: неужели гнусная причина «недостаток средств» не будет устранена? Неужели русские парижане забудут, что в субботу 29 мая в залах Альма, сквер Рапп, остановка Эколь Милитэр, в пользу первого отряда наших скаутов состоится благотворительный концерт-бал с участием г-ж Алексеевой-Конюховой, Бараш, Болдыревой, Лидии Баян, О. О. Преображенской, З. Ростовой, В. В. Томиной, О. В. Федоровой, гг. Александровича, Б. Головка, А. Городецкого, Икара, Лабинского, Сибирякова?

Не может быть!

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», 29 мая 1926, № 360, с. 3.*

---

<sup>48</sup> Ecole militaire – Военная школа (фр.).

## Под землей

В это время, около четырех часов пополудни, длинные ходы метро пустынно гулки. Влажным отблеском отвечает огням электрических лампочек изразцовая облицовка широких сводов. Воздух густ и тяжел в подземной прохладе. Едкий запах идет от мокрого каменистого пола, над которым со швабрами в руках лениво шевелятся уборщицы, напоминая своим странным нарядом форму женского ударного батальона. И внизу, возле рельс, – тишина, тот же безжизненный отблеск, серая полоса свободной платформы с грудями наметанных у стен билетиков.

Иногда где-то сверху загрохочет, пробежит дрожью над сводами. . . Это линия корреспондана. У входа зевающая амазонка, сидя на стуле верхом, вдруг протяжно спросит о чем-то подругу с соседнего перрона, сладко зевнет, щелкнет по привычке зубами контрольных щипцов. И снова тихо.

В этот час, когда нет пассажиров, и отдельные фигуры людей тонут в кафельном просторе, будто погруженные в пустую гигантскую ванну, – ярче выделяются надписи, громче кричат беззвучные объявления-плакаты. Гуси с неуклюжими оранжевыми лапами беспечно глядят на коробку с пате де фуа гра<sup>49</sup>, не подозревая, что там, внутри, таятся их собственные потроха. Какая-то пресыщенная дама типа царицы Тамары, флиртует с добродушным медведем, кормя его лучшими в мире бисквитами. Там и сям со стены глядят круглые рожи луны, то искренне плачущей от отсутствия крема для своего медного лица, то с вожделием выглядывающей, вдруг, из-за занавески окна на аппетитные итальянские макароны. Несколько взрослых безнадежных идиотов, расположившихся между луной и шоколадным земным шаром, торопливо делают масляной краской надписи на пиджаках один у другого; какая-то истерическая женщина, подняв руку к небу, над которым прибита таблица «дефанс де краше<sup>50</sup>», благим матом извещает вселенную о ежедневном выходе «Котидьен<sup>51</sup>»; а вслед за нею лучшие во вселенной консервы, вина, ликеры, сыры; пилюли для борьбы с этими ликерами, винами, сырами. И на скамьях вместо забытого гимна: «Allons enfants»<sup>52</sup> ввевшаяся глубоко в сознание граждан реклама: «Allons frères»<sup>53</sup>.

Я вхожу в почти пустой вагон, блестящий ненужными огнями. Там, где-то в глубине, сидит одинокий господин, уныло смотрит на серые стены туннеля, с сопровождающим поезд назойливым Дю Бонне<sup>54</sup>; возле входа на скамьях – две дамы. Говорят повышено громко, не стесняясь, будто переговариваются с противоположных берегов бурной горной реки. И не зная русского языка, я все равно догадался бы, кто эти иностранки. Ведь только русские беженцы чувствуют себя в мечущихся вагонах Европы совершенно свободно, как дома. Другие народы пока еще не привыкли.

– И что же, дорогая? Устроился?

– Ну, да. Превосходно! Второй год служит в Шарлоттенбурге приказчиком. А главное за квартиру ни одной марки не платит. Вы представляете, милочка, какое это преимущество не платить за квартиру?

<sup>49</sup> Pâté de foie gras – паштет из «фуа гра», особым манером приготовленной утиной или гусиной печени (*фр.*)

<sup>50</sup> Défense de cracher! – Запрещается плевать! (*фр.*)

<sup>51</sup> «Le Quotidien» – ежедневная газета Левого блока, выходившая в Париже между Первой и Второй мировой войнами (*фр.*)

<sup>52</sup> «Вперед, сыны» (*фр.*) – начало французского гимна «Марсельеза».

<sup>53</sup> «Вперед, братья» (*фр.*)

<sup>54</sup> Dubonnet – французский аперитив; вероятно, имеется в виду его реклама.

– Ах, дорогая моя! Кто же может это себе не представить? У нас с Котиком на комнату треть денег уходит... И то считаем, что очень удачно нашли. А как он? В долг зачисляет? Или принципиально кочует?

– Кочует? Совсем не кочует. И совершенно не в долг. Жорж так всегда шепетилен, он во всем всегда так деликатен... Но разве его вина, если немка-хозяйка вздумала на старости лет сделаться русской помещицей? Узнала, что у Жоржа в Воронежской губернии 4000 десятин, и сама предложила: она не берет ничего за комнату, а он каждые три месяца взамен платы дарит ей по сто десятин.

– По сто? Да что вы, дорогая моя? Но ведь это грабеж!

– Что поделаешь, милочка. Жорж сам сознает, что дорого. Но если не хватает на жизнь?

– Да, но это шантаж! Это мошенничество! Нам самим с Котиком деньги нужны. Очень нужны... Но сто десятин это безрассудно, дорогая моя! Вы посчитайте сто в три месяца это четыреста в год? Значит, в десять лет все имение? А потом что? Разорение полное? Ни кола, ни двора? Без угла, где можно приклонить голову на старости лет?

Дамы смолкли на время. Одна, негодующая, строго посмотрела на промелькнувший перрон, презрительно произнесла вслух название станции. Другая, задумчивая, осторожно скосила на меня глаза и, догадавшись, что я англичанин, громко заговорила опять:

– Ну, а как Константин Сергеевич? Здоров? Ездит по-прежнему?

– Спасибо. Мотается.

– Летом, наверно, затишье с такси?

– Нет, не скажите... Как когда. Иногда даже случается, вдруг, и хорошо привезет. Вот позавчера, например, сто франков заработал сверх таксы.

– В самом деле? От кого же? От кутящих монмартрцев?

– Нет... от американца-туриста.

– Ах, эти американцы! После налога на карт д-идантитэ видеть их не могу! Все из-за них, этих негодных... А почему раскошелился? Пьян был? Или бумажник на сидении забыл?

– О, нет, никакого бумажника. И трезв совершенно, днем дело было. Когда, понимаете, узнал, что Котик говорит по-английски, страшно обрадовался. Влез в автомобиль, предлагает: покажите мне все, что есть интересного в городе. Только обо всем расскажите подробно: об истории, о географии, об архитектуре. Я, говорит, за историю и архитектуру отдельно плачу. Котик, вы сами понимаете, хотя и генерал, но совершенно не обязан знать подробности французской истории. Кое-что про Людовика помнит, конечно, кое-что про Генрихов, про Наполеона... Но детали... Сначала хотел даже отказаться, а потом совершенно справедливо решил: с какой стати? Из-за американцев дороговизна, из-за них 375, из-за них два блюда в ресторане, нашей союзнице Франции они даже пустяшного долга простить не хотят, а Котик будет, вдруг, джентльмена разыгрывать? Посадил он американца рядом с собой и давай болвана возить. «Это что?» – спрашивает тот. «Это плас де ла Конкорд». «Чем замечательна»? «Людовика казнили здесь». «В самом деле? В какой именно точке»? «Вот в этой. У входа в метро». «Ага! Отлично. Едем дальше». Останавливаются у Опера. «Это что»? «Опера». «Когда построена»? Котик сначала задумался, а потом припомнил 375 и со злостью говорит: «В 375-м». «Что вы? Так давно? Кто строил»? «Пипин Короткий». «Ого! Короткий, а какое огромное здание! Какой стиль?» «Амбир с рококо». «Дальше!»

Возил так мой Котик дурака этого часа два, если не три, везде побывал. И говорит, что только первые полчаса было немного неловко. А затем, как пошел, как пошел!.. Сам даже стал удивляться, откуда только факты берутся? Чего он ему ни показал, дорогая моя! У парка Монсо подробно рассказал, как Генрих Птицелов силками скворцов ловил; в парке Шомон про Филиппа Красивого и про все его свиданья вспомнил. Относительно Наполеона десять домов показал наудачу: здесь с мадам Сан-Жен познакомился, тут с Жозефиной поцеловался, в этом месте задумал африканский поход. А у площади Клиши, когда американец уже рассчитывался,

Котик так разошелся, представьте, что пур ла бон буш<sup>55</sup>сам на прощание сказал: «видите, сэр, это место, где автобус стоит? Тут король Людовик Четырнадцатый свою знаменитую фразу сказал: „L'état c'est moi“. Компренэ ву<sup>56</sup>»?

Дамы вышли на конечной станции и вместе со мной шли по длинному коридору бодро, уверенно, громко стуча каблучками. Говорили о том, что хорошо было бы открыть мэзон де кутюр, а для фирмы пригласить мадемуазель Полежаеву, так как теперь ее вся публика знает. Перешли с мэзон де кутюр на автоматические спичечницы, которые удачно делает знакомый полковник. И когда, наконец, выбрались в вестибюль, одна с завистью оглянула огромный зал, с многочисленными входами в разные стороны, вздохнула, произнесла:

– Неправда ли глупо, милочка, что столько свободного места пропадает?

И, не ожидая от соседки вопроса, добавила:

– Из каждого такого входа в метро я бы десять уютных квартирок устроила!

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 27 сентября 1926, № 482, с. 3.*

---

<sup>55</sup> Pour la bonne bouche – на закуску (фр.).

<sup>56</sup> L'état c'est moi – государство – это я; Comprenez-vous – Вы понимаете? (фр.)

## Из православного катехизиса

В нашем грустном беженском существовании, насыщенном взаимными распрями, полезно иногда углубиться в какую-нибудь книгу религиозного содержания, чтобы отдохнуть душой, забыть об окружающих печальных раздорах.

Я лично в этих случаях читаю подаренный мне Владыкой Митрополитом Антонием экземпляр «Опыта Христианского Православного Катехизиса». Катехизис издан в 1924 году в Сремских Карловцах, написан, пожалуй, несколько сухо, подобно катехизису Филарета – в вопросах и ответах. Но вторая часть – Нравоучение, – приносит при чтении большое утешение.

В особенности люблю я изложение седьмой заповеди блаженства: «Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся». Владыка Митрополит в простых и искренних строках исчерпывающе объясняет нам, христианам, как нужно проводить в жизнь этот завет Великого Учителя.

И, я думаю, подобные строки в настоящее время полезно прочесть или вспомнить многим. Вот, кстати, выдержка, взятая со страницы 122:

«Вопрос. Какая седьмая заповедь Господня для блаженства?»

Ответ. Желаящие блаженства должны быть миротворцы.

В. Почему велика добродетель миротворцев?

О. Потому что она не о том только печется, что связано с жизнью самого подвижника, но стремится как бы самое небо низводить на землю, дабы взамен злобы и ненависти, разделяющей людей друг от друга, „мир Божий, который паче всякого ума, соблюдала бы сердца людей“. Как и Сын Божий, „пришел, благовести мир вам (то есть всем людям) дальним и близким“.

В. Как достигается миротворцами столь благодетельное влияние?

О. Миротворцами бывают люди, исполненные высокого благочестия и ревностью о Боге. Общество, с которым они входят в соприкосновение, проникается подражанием их ревности о Боге и любви к ближнему, и тогда утихают их мелкие человеческие ссоры и взаимная злоба, имевшая место, пока у них не было высшей цели жизни. Так о первых христианах книга Деяний свидетельствует, что у них было „одно сердце и одна душа“.

В. Как сделать себя способными к прозрению доброго?

О. Должно прежде всего не осуждать ближних, а для сего обуздывать язык, затем должно молиться о них и удалять от души своей помысел тщеславия и властолюбия, дабы все доброе окружающей нас жизни направлялось не к нашей, а к Божьей славе.

В. Кто призван к подвигам миротворца?

О. Все христиане, но по преимуществу пастыри церковные, как преемники служения апостольского, о котором Церковь воспевает так: „союзом любви связуеми апостоли, владычествовыми всеми Христу себе возложше, красны ноги очищаху, благовествующе всем мир“».

\* \* \*

Прекрасные слова! О, если бы им следовали до самых низших исполнителей.

*«Возрождение», Париж, 12 декабря 1926, № 558, с. 3.*

## Детское чтение

Странные дети пошли теперь.

Помню, бывало, какое удовольствие доставляли нам рождественские книги-подарки! Получишь в блестящем переплете «Путешествия Гулливера» или «Робинзон Крузо» и оторваться не можешь. Спишь с Робинзоном, обедаешь с Робинзоном, умываешься с Робинзоном. Книга всегда неразлучно рядом, чтобы вор не украл. И какими счастливыми казались эти герои! Чего только ни вынесли: кораблекрушение, необитаемый остров, лилипутов, Гуним<sup>57</sup>, Ягу...<sup>58</sup>

А на днях пришлось с десятилетним Митей, которому Степан Николаевич где-то по случаю раздобыл обе эти удивительные книжки, – и до сих пор прийти в себя не могу. Не понимает мальчишка прелести приключений! Прочтет страницу, другую... И протяжно зевает.

– Неужели не интересно? – сев рядом с ним на диван, с любопытством спрашиваю я. – Может быть, ты уже читал Робинзона?

– Нет, не читал. Но, знаете... Скучно. Мало особенных приключений. Вот дядя Федор Петрович, например, в Галлиполи целый год в турецкой могиле жил. Это я понимаю. Шикарно! А что такое пещера? Большая беда...

– Ну, брат... Мало ли кто из нас где жил. Но зато какое кораблекрушение у Робинзона! Не нравится разве? Буря. Волны как горы. Необитаемый остров... Не всякому путешественнику такая удача.

Митя презрительно поморщился, снисходительно покосился на меня.

– Мы с папой тоже от кораблекрушения тонули, – с достоинством проговорил, наконец, он.

– В самом деле? А где?

– На Черном море. Правда, я был тогда еще совсем маленький, всего хорошо не помню. Но папа подробно расскажет, если хотите. Робинзону-то легко было: никто не мешал вылезти на берег. Махай себе руками и подплывай. А нас не пускали. Папа махает, кричит: «земля! земля!»! А в ответ кричат: «нельзя!».

– Так, так... – озадаченно бормочу я, взяв из рук Митину книгу. Это, действительно, неприятно. Ну, хорошо... А как ты смотришь на охоту? Хотел бы поохотиться, как Робинзон?

– Конечно, хотел бы. Лук и стрелы я люблю. Только Робинзону что? Никто стрелять не запрещал. А когда мы приехали в Константинополь, а потом повезли нас на Халки, папа захотел один раз из рогатки застрелить гуся, так такой скандал был. Ужас!

С Робинзона разговор перешел на Гулливера. Со всей строгостью и скепсисом уже оформившегося беженца, Митя раскритиковал и произведение Свифта.

– Кто при высадке на берег сразу ложится спать, не узнав ничего о жителях и не предъявив карт д-идантитэ? – недоумевал Митя. – Кроме того, разве это умно, будучи великаном среди лилипутов, покорно таскать на веревках чужие корабли, а не объявить себя сразу царем?

Гулливер, по мнению Мити, вообще дурак: не организовал ни театра, ни ресторана, ни детских яслей, ни школы, ни газеты. Будь он русским, конечно, все это появилось бы. Мало того: Гулливер быстро бы научился ездить верхом на Гунимах, раз они лошади. А этот? Попадает из одной неприятности в другую и не знает даже, как убежать. Ждет, пока орел случайно не унесет его домик и не уронит в море... Размазня.

---

<sup>57</sup> У Дж. Свифта – гуингнмы (от англ. Houyhnhnm), высокоморальные и разумные лошади.

<sup>58</sup> Там же: Йеху, или Яху (от англ. Yahoo) – отвратительные человекоподобные существа, населяющую страну гуингнмов.

Видя, что литература приключений и путешествий не удовлетворяет духовных запросов моего молодого друга, я перешел на наших классиков. Стал спрашивать: какие стихи Митя знает, знаком ли с Пушкиным, Лермонтовым? И с радостью убедился, что читал он не мало.

– В особенности люблю я, знаете, стихи про этого самого беженца... Как его? Демона. «Печальный Демон, дух изгнания»... Вы читали? Я наизусть даже немного выучил: «и над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал»... Мы с папой тоже через вершины Кавказа пролетали, то есть знаете, переходили, когда из Кисловодска бежали. Мне было четыре года, но я помню, очень красиво. Шикарный снег был. И горы... Там тоже сказано: «Под ним Казбек, как грань алмаза красую вечною сиял». А, вот, погодите... Я вас спрошу...

Митя встал, направился к полке с книгами.

Ты что ищешь?

– А сейчас покажу... Мне Анна Ивановна задала урок. Пушкина. Нравится очень, но только так много русских иностранных слов, что не дай Бог. Анна Ивановна объясняла, но я забыл. А папе некогда. Помогите-ка!..

Митя раскрыл книгу на том месте, где был заложен карандаш, стал пробегать глазами строчки.

– Скажите, пожалуйста, что такое: на облучке?

– Облучок... Это... как бы тебе сказать? Ну, место, где сидит кучер.

– Ага. Шофер? Верно. А кушачок?

– Кушачок? Пояс такой. Из материи.

– Сентюр<sup>59</sup>. Она так и говорила. А кибитка кто? Лошадь? Тут, смотрите, такие штуки, что ничего понять невозможно: на дровнях, бразды, ямщик, салазки... Все иностранное.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 16 января 1927, № 593, с. 3.*

---

<sup>59</sup> Ceinture – ремень (фр.).

## Монолит

Случайно познакомился с одной старой русской нянюшкой.

Говорил с нею всего каких-нибудь десять-пятнадцать минут. А сколько приятных и бодрых впечатлений!

Это не доклад какой-нибудь о чингисхановской России. И не диспут записавшихся ораторов. Два дня прошло, а до сих пор живо стоит в глазах величественный образ крепкой старухи, звучит в ушах могучий русский язык.

Покупал я у бесконечного прилавка возле витрины каштаны. Сначала не обратил внимания, кто стоит рядом. И, вдруг, слышу:

– Эй, кордон, сивоплэ! Отпусти же меня, ради Создателя!

Оборачиваюсь, вижу: старушка. Морщинистое, но решительное лицо. Глухое длинное черное платье, облегающее высокую, плотную фигуру. На голове вязаный платок, поверх седых, гладко расчесанных волос. И в руках – в одной веревочная сетка для покупок, в другой – толстая палка.

– Русским языком говорю тебе: апельсины комбьен<sup>60</sup>?

– Эн фран суасен кенз<sup>61</sup>, мадам.

– Чего? Это сколько же? Ты мне, братец, зубы не заговаривай, табличку покажи. Один рубль семьдесят пять? Ишь ты! Чего ж так? Возле пляцы рубль пятьдесят серебром, а у вас семьдесят пять? А это комбьен? Ком са<sup>62</sup>, мандарин?

Само собой разумеется, я не пропустил случая помочь соотечественнице. Поговорил с приказчиком, купил все, что требовалось и, провожая старуху по тротуару, разговорился.

Вернее, разговорился не я, а – она.

– Трудно вам, наверно, с языком, – сочувственно говорил я, с любопытством разглядывая загадочную внушительную палку. – Недоразумения часто бывают, неправда ли?

– А чего же им быть? – строго повернулась старуха. – Никаких недоразуменьев. Всегда случается, что русский прохожий поможет, как вы. А то, просто на цены смотрю. Слава Богу, народ ловкий: для православных везде таблички нацепляют.

– Ну, когда цены указаны, тогда, конечно, просто... А вообще...

– А вообще, чего с ними разговаривать! Плати только аккуратно и все. Остальное они сами хорошо понимают. Когда, бывает, не разберу их, что лопочут, кладу прямо на ладонь мелочь. Да говорю: «мусье, живо при<sup>63</sup>». Коли много берет, дорого выходит, я у него деньги назад отбираю, продукт возвращаю. А коли по-божески, не сопротивляюсь. Гляжу только зорко, чтобы не обсчитал. Да меня и знают-то все здесь. На что город неуклюжий, большой, а лавочники, можно сказать, все знакомые. С разных сторон только и слышишь: сова<sup>64</sup> да сова. Сначала, когда приехала, обижалась даже. Думала, смеются над старухой. А потом Екатерина Николаевна объяснила, что сова у них все равно, что у нас Бог в помощь. Такой уж чудной птичий язык.

– А вы откуда приехали? Из России?

– Эх-хе, из России. Когда мы из России? Семь лет. В Константинополе жили, в Болгарии жили, в Сербии жили, в Германии жили. Самая лучшая жизнь, разумеется, в Аранжеловаце<sup>65</sup>:

<sup>60</sup> Combien – сколько (*фр.*).

<sup>61</sup> Un franc soixante quinze – один франк семьдесят пять (*фр.*).

<sup>62</sup> Comme sa – как его (*фр.*).

<sup>63</sup> От фр. je vous prie – я вас прошу.

<sup>64</sup> От фр. ça va – «как дела?», также «все нормально» (*фр.*).

<sup>65</sup> Аранжеловац – сербское селение.

на динар три яйца дают. Константинополь тоже ничего: за пиастр халвы огромный кусок отвялят, полфунта, не меньше. Но в Германии не понравилось. Хоть и служба была не трудная, и хозяева сурьезные, и жалованье приличное, а только не люблю я республику. Здесь во Франции, мне говорили, хоть принц есть, управляет, а у них что? После войны ни короля, ни генералов, ни войска. Можно сказать, одно «битте» и есть. Ну, я и испугалась, как бы не вышло чего. Уехала.

Мы прошли с нею до ближайшего угла, остановились, поговорили еще немного. В кратких, но выразительных словах она выяснила мне и свое отношение к Франции и вообще отношение к Европе. Город Париж, по ее мнению, безусловно недурной, жить можно, в особенности хороша теплая вода. Но движение на улицах зато возмутительное. Никакого порядка, а главное толка. Один день ездят в одном направлении, другой день в другом. Ажаны<sup>66</sup>, хотя народ и распорядительный, но все какие-то шуплые, бледные, не то, что наши городовые, кровь с молоком. Разве можно доверять таким штатским людям? И старуха, переходя улицу, надеется не на ажанов, а только на самое себя. Против такси носит всегда крепкую кизилковую палку и, в случае надобности, отбивается. Такси на нее, а она на такси... Только с такой палкой и можно спокойно выйти на парижскую улицу.

– А вы где живете сами? – прощаясь с соотечественницей, полюбопытствовал я.

– А тут недалеко. За Красными Воротами на Пушкинской улице.

– Это где ж? Авеню Виктор Гюго?

– Может у них и Гуго. А для меня Пушкинская. Где мне на старости лет в ихних названиях путаться!

Она протянула на прощанье руку, торжественно кивнула головой, угрожающе подняла палку, чтобы начать переход через улицу. И вдруг обернулась.

– Видели? – пренебрежительно мотнула она головой вслед даме, ведшей на цепочке большую собаку в наморднике.

– Что? Собака?

– Вот именно. Разве это собака? Ни кусает, ни лает, хвоста даже нет... А говорят, христьянская страна. Тьфу!

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 13 февраля 1927, № 621, с. 3.*

---

<sup>66</sup> Agent (de police) – полицейский (фр.).

## Жаннет (Стихотворение в прозе)

Она обещала зайти к шести. Клялась, что будет точно. Что бросит все – работу, детей, старую мать. Ровно в шесть позвонит у калитки...

Но башенные часы нашей пригородной мэрии давно пробили семь. Будто кто-то разбил семь чайных стаканов. Цветные кричащие сумерки кончились. Вместо них в небе – монотонная грусть лунного света.

А ее нет.

Нет Жаннет!

Я стою у окна. Притаилось дыхание. Слух и зрение взвели свой курок. Там, впереди, за забором, зеленый язык фонаря чертит дрожащую огневую диаграмму. За железной решеткой беззвучными клавишами застыл тротуар. В семь часов тут, в предместье, пустынно и тихо. Каждый шаг четок и резок.

Да, конечно, я услышу. У нее быстрая поступь. Увижу силуэт у поворота с горы: она высока и тонка.

Никого. Ничего. Не стучат за решеткой клавиши. Не играют на повороте тени со светом. Один зеленый язык трепещет и дразнит.

Нет ее! Где-то лает собака. Захлебнулась, взвизгнула, смолкла. В доме, напротив, открылось окно. Кто-то протяжно зевнул. Громко сказал:

– Ça y est<sup>67</sup>.

Отошел. А ее нет.

Жаннет! В чем дело, Жаннет?

Я сажусь, достаю папиросу. Разве перечеть сегодняшний номер? Вот, лежит... Франко-советская конференция. Состав... Дальбиэз, Доссэ, Бастид, Шарль Барон, Филиппото.

Странная фамилия! Филиппополь. Гиппопотам. Гиппопотам. Лимпопо. Шарль Барон. Шарль Барон. Почему не маркиз? И Доссэ, как досье. И Сванидзе в составе. Не тифлисский ли? Тот? Дрались с ним, помню, в третьем классе гимназии.

Она?

Подбегаю к окну. Да, шаги. Быстрые. Женские. Ближе. Ближе... Сейчас у калитки. Должны замереть. Щелкает ручка.

Мимо!

Ах, Сванидзе! Два часа ждать. Как мальчишка. Погоди же, Жаннет!

Из окна, выходящего на балкон, виден Париж. Млечным путем, сорванным с неба, горит правый берег реки. Только там, где-то возле Трокадеро, симметрия ярких огней говорить, что это не небо. И внезапно загорающийся скелет гигантской башни подтверждает: не небо, нет. Не бесконечность, нет. Не вечность, нет. Ситроен.

Жаннет. Ну, когда же?

Четверть девятого!

Секундная стрелка бежит. Только она – честна, благородна: не скрывает намерений времени. А эти две – взрослые, тихие – притаились. Насторожились, как хищники. Будто ничего не случилось. Будто не уходят в провал прошлого дорогие часы и минуты. Она трогательна в своей наивности, эта маленькая, быстрая. Нет опыта жизни, не научилась обманывать. Жаннет, ах, Жаннет!

---

<sup>67</sup> Вот и все (фр.).

Написать что-нибудь? К черту? Какое писание! Лучше ходить взад – вперед. Время пройдет незаметно. Или в сад выйти. А вдруг она? Постучит осторожной рукой. Прислушается... Уйдет. Все пропало. Нет, нет. Делегацию дочитать. Состав. Шарль Барон или Граф, Лилипутто... Лимпопо... Досье и Доссэ. Сванидзе...

– Жаннет? Вы?

– Бонжур, мсье.

– Хороший жур! Девятый час!

Я бросаюсь вперед, протягиваю дрожащие руки. Она стоит в дверях смущенная, с виноватым лицом. Седые волосы растрепались. Бесцветные глаза горят испугом. И на морщинистых щеках – тревожная игра паутины, точно попалась неосторожная муха.

– Давайте, скорее!

– Извольте, мсье. Не сердитесь только. Я не виновата. Мой муж...

– Все равно!.. Некогда объяснять. Воротнички где?

– Здесь, мсье.

– А манжеты?

– Вот, мсье.

– Кладите сюда! Остальное на стул. Со счетом – завтра. Как не стыдно, Жаннет? У меня в девять часов заседание, я баллотируюсь в члены правления. А вы? До свиданья, мадам. Я должен раздеться!

– Спокойной ночи, мсье.

– Спокойной ночи, мадам.

Я лихорадочно срываю пиджак. Летят в сторону башмаки. Поезд отходит в половине девятого.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 23 марта 1927, № 659, с. 2<sup>68</sup>.*

---

<sup>68</sup> Также напечатано в сборнике «Незванные варяги» (Париж: «Возрождение», 1929), с. 97–99.

## Лэ нуво повр<sup>69</sup>

Ничто так не обогащает нашего брата-литератора, как хождение в гости.

Сидишь дома, кряхтишь, придумашь что-нибудь такое исключительное, замысловатое, чтобы изумить мир...

А, между тем, тут же, чуть ли не рядом, у кого-либо из добрых знакомых жизнь сама бьет ключом, дает столько материалу, что хватит и на дантов Ад, и на полное собрание сочинений Марка Твена.

Взять, вот, хотя бы мою старую приятельницу мадам Короткину. Сколько в ее облике красок! И не внешних, это ерунда. А во внутренней сущности!

Прихожу, например, на Красную Горку с визитом и вижу: дама чуть не в слезах.

– В чем дело, Марья Сергеевна?

– Да, вот... Имажине-ву<sup>70</sup>... Был у меня только что Аминодор Семенович. Объяснил, как следует зарубежные дела... И теперь я вижу ясно, что напрасно исповедовалась и причащалась. Оказывается, наш священник – совсем не священник! Оказывается, от него давно ля благодать э парти<sup>71</sup>!

Успокаивать Марью Сергеевну мне пришлось довольно много и долго. Разъяснил ей вопрос, как умел, посоветовал не предаваться отчаянию, а затем, чтобы окончательно отвлечь в сторону, занялся десятилетней племянницей Леночкой, учащейся во французском коллеже.

– Ну, что, детка?... Хорошо идут твои занятия?

– Сертэнеман<sup>72</sup>, мсье.

– Лена, отвечай по-русски, когда тебя по-русски спрашивают! – строго заметила тетка.

– А ты?

– Не твое дело. Я сама знаю, когда как говорить! – Имажинэ-ву, – снова жалобно обращается ко мне Марья Сергеевна. – Эта фийэт<sup>73</sup>, Бог знает, как стала выражаться по-русски! Энкруайабль!<sup>74</sup> «Я была пошедшая». «Я иду уходить»... В прошлое воскресенье на Пасху форменным образом меня опозорила. С утра пришли визитеры, довольно много народу. Между прочим, зашел почтенный казачий генерал. А тут как назло на улице кто-то под окном на дудке начал играть. Генерал спрашивает, что это такое, – я не могу объяснить, хотя и не раз слышала подобные звуки. А Леночка хлопает в ладоши, кричит: «Разве не знаете? Это маршан<sup>75</sup>! Продает козачье молоко!» Вы представляете мое положение? Фигюрэ-ву ма конфюзьонь?<sup>76</sup> Генерал такой солидный, важный, должно быть, очень обидчивый... А она вместо козье – козачье! Пришлось извиняться... Объяснять, что это недоразумение. Влияние коллежа...

Увидев, что хозяйка вполне отвлеклась в сторону, я перешел к основному вопросу, который меня, как визитера, интересовал особенно сильно:

– А как вообще поживаете, Марья Сергеевна?

И тут-то Марья Сергеевна начала высказываться полностью:

– Ах, мон Дье, как поживаю! Разве здесь, на окраине города, возможно вообще поживать? Квартира, конечно, недорогая. Не спорю. Удачно нашла. Но зато что за ужас – эти черные

<sup>69</sup> Les nouveau pauvre – новые бедные (фр.).

<sup>70</sup> Imagine vous – вообразите (фр.).

<sup>71</sup> Est parti – ушла (фр.).

<sup>72</sup> Certainment – конечно (фр.).

<sup>73</sup> Fillette – девочка (фр.).

<sup>74</sup> Incroyable – невероятно (фр.).

<sup>75</sup> Merchant – продавец (фр.).

<sup>76</sup> Figurez vous ma confusion? – Вы понимаете мое замешательство? (фр.)

кошки! Откуда они? Почему все обязательно черные? В России я так привыкла возвращаться домой, когда черная кошка перебежит дорогу... А тут – тороплюсь утром к метро, у меня дела возле Прентан<sup>77</sup>. И непременно какая-нибудь черная кошка – навстречу. В первые дни пробовала каждый раз возвращаться. Из булочной выбежит – я назад. Из бистро вылезет, – я назад. Подойду к воротам, трону рукой, выхожу обновленная... И снова встречаю. Ну, в конце концов, пришлось, конечно, сдаться, прекратить всю борьбу. Пришлось просто зажмуриваться, делать вид, что не видишь. Но вы представляете, как тяжело изменять старым традициям? Вы понимаете, как обидно отрывать от себя кусочки прежнего «я»? Да будь у меня те средства, как были тогда, – я бы не ни одной пяди из своих убеждений! Я бы твердо хранила заветы, чтобы в неприкосновенности донести себя до России...

Но что делать, когда повретэ<sup>78</sup>? Что делать, когда живешь только на то, что присылает брат из Америки! Я, само собой разумеется, не завидую богатым, если они богаты давно. На вот нуво риш<sup>79</sup>... Против них я почти большевичка. Нажились на войне, на всеобщем развале, разъезжают в ото<sup>80</sup>... И теперь они нуво риши, а я почему-то нуво повр<sup>81</sup>... Почему нуво повр? С какой стати? Где справедливость, дит-ка муа<sup>82</sup>?

\* \* \*

Я возвращаюсь от Марьи Сергеевны, как всегда полный материала и красок. И ясно чувствую: сам никогда не выдумаешь ни «ля благодать э парти», ни «козачьего молока», ни «нуво повров». Да, обязательно нужно ходить за темами в гости, бывать у знакомых.

Жаль будет только, если перестанут, в конце концов, принимать...

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 6 мая 1927, № 703, с. 2.*

---

<sup>77</sup> «Printemps», одна из наиболее крупнейших сетей универсальных магазинов во Франции.

<sup>78</sup> Pauvreté – бедность (фр.).

<sup>79</sup> Nouveau rich – новые богатые (фр.).

<sup>80</sup> Auto – авто (фр.).

<sup>81</sup> Nouveau pauvre – новые бедные (фр.).

<sup>82</sup> От фр. dites moi – скажите мне.

## К познанию России

Это, в конце концов, обидно.

Мы, русские, с детства стараемся как следует изучить географию Западной Европы, ее реки, острова, полуострова.

Зубрим до изнеможения иностранные неправильные глаголы.

Следим за западными авторами, не только современными, но даже за Расином и Буало.

А они, европейцы, считают изучение Восточной Европы делом ниже своего достоинства.

И, кроме генерала Харькова<sup>83</sup>, знать ничего не хотят.

В то время, как даже Турция нашла в Европе своих романистов-бытописателей, у нас, у России нет ни своего Пьера Лоти<sup>84</sup>, ни Клода Фаррера<sup>85</sup>. Самым большим европейским знатоком русских обычаев был, должно быть, Жюль Верн<sup>86</sup>. Да и тот почему-то заставлял своих героев ездить на Нижегородскую ярмарку в шубах.

Не помогает знакомству с Россией и нынешнее положение вещей, когда в главных европейских городах основную часть населения сделали русские беженцы.

Казалось бы, чего проще: встретить на улице кубанского казака в папаше и спросить, что он пьет из самовара: водку или пиво?

Или зайти в редакцию эмигрантской газеты и справиться для постановки фильма из русской жизни:

– Над каждым ли петербургским великокняжеским дворцом на крыше стоит деревянный резной петушок? Обозначает ли слово «nitchevo» нужную доверчивость молодой девушки, или же, как слово «Vassilievitch», характеризует жестокость мужского характера?

Вот передо мною случайно два номера французских изданий: «Либертэ» от 5 июня и выпуск бульварного журнальчика «Ле кри де Пари».

«Либертэ», сообщая читателям маршрут летчиков Кост и Риньо<sup>87</sup>, следующим образом перечисляет русские города, реки и горы в направлении с запада на восток: «Двинск, Холм, Галич, Уральский хребет, река Ока, Байкальское озеро». А журнал «Кри де Пари», со снисходительной иронией описывая жизнь русских эмигрантов в Париже, говорит вперемежку с другими благоглупостями:

«Здесь в Париже, между прочим, находятся и два русских поэта – члены Российской Академии: Бельмонт и Бубин».

Конечно, мы русские, варвары. Точнее говоря, простые татары.

Однако, где, в каком самом варварском русском журнале мы встречали, чтобы Мопассана кто-нибудь назвал Монпансье, а Альфреда Мюссе – Манфредом Пюс?

А разве солидная татарско-русская газета когда-нибудь напечатала бы у себя маршрут летчика, направившегося из Читы в Париж, в таком виде: «Чита-Москва-Страсбург-Биарриц-Сена-Монблан-Париж»?

---

<sup>83</sup> В 1919 г. премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж упомянул «генерала Харькова» в ряду важных антибольшевистских лидеров; в том же году британский король Георг V сделал «генерала Харькова» почетным кавалером ордена свв. Михаила и Георгия.

<sup>84</sup> Пьер Лоти (настоящее имя Луи Мари-Жюльен Вио; 1850–1923) – французский офицер флота и писатель, автор колониальных романов.

<sup>85</sup> Клод Фаррер (настоящее имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон; 1876–1957) – французский писатель, автор приключенческих, фантастических и детективных произведений.

<sup>86</sup> Вероятно, подразумевается приключенческий роман Ж. Верна «Михаил Строгов», полный «клюквы».

<sup>87</sup> D. Costes, J. Rignot – французские летчики, попытавшиеся в 1927 г. улучшить свой рекорд по дальности беспосадочного перелета, но совершившие вынужденную посадку в Нижнем Тагиле.

Мы, татары, перед тем, как писать об Европе, все-таки заглядываем в карту, предварительно читаем что-либо, спрашиваем очевидцев, ездим сами, тщательно записываем названия, фамилии. Обязательно заходим при этом в библиотеку. А европеец считает, что русский быт, русская география и русские имена могут создаваться непосредственно в кабинете, за письменным столом, или вблизи наборной машины.

И беззастенчиво передвигает Холм за Двинск, Оку за Урал, российское население сажает под клюквенную тень, заставляя Бельмонтов пить пиво из самоваров, а Бубиных кутаться в шубу для поездки на Нижегородскую ярмарку. Мы, русские журналисты, конечно далеки от того, чтобы обижаться на своих европейских коллег за подобное невнимательное отношение к русской географии и к русским фамилиям.

Что поделаешь!.. Бубин, так Бубин – это для Бунина беда небольшая. Бальмонт тоже не пропадет, если будет Бельмонтом.

Но вот что опасно для самих иностранцев: это полное незнание Оки и Урала.

Ведь, может быть, оттого Кост и Риньо и не долетели до Читы, а сели в Нижне-Тагильске, что руководствовались географией «Либертэ»?

Думали, что уже Чита, раз Ока позади, а оказалось Урал. В более крупном масштабе то же самое происходит с европейцами и в ознакомлении с большевизмом в России.

Помогали генералу Харькову вместо того, чтобы помочь генералу Деникину.

И до сих пор смешивают Кремль с кремом, Сокольникова-Бриллианта<sup>88</sup> с жемчужиной царской короны, а Христю Раковского<sup>89</sup> считают пострадавшим боярином, у которого Иван ле Террибль отобрал дворец с петушком.

Нет, безусловно нельзя ни взыскать старых долгов, ни благополучно найти какое-либо сорти<sup>90</sup>, блуждая в таком лабиринте.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 13 июня 1927, № 741, с. 2.*

---

<sup>88</sup> Григорий Яковлевич Сокольников (настоящее имя Гирш Яковлевич Бриллиант; 1888–1939) – советский государственный деятель, народный комиссар финансов.

<sup>89</sup> Христиан Георгиевич Раковский (1873–1941) – болгарский революционер, затем советский государственный деятель; в 1925–1927 гг. пребывал на дипломатической службе во Франции.

<sup>90</sup> Sortie – выход (*фр.*).

## В гостях у варвара

Случайно познакомился с известным французским кинорежиссером, мсье Жуэ, большим любителем фильм из русской жизни.

Это он поставил несколько лет назад нашумевшие картины «Княжна Василия» и «Бедность не пророк» (Ла поврете н-э па з-ен профэт).

Сам мсье Жуэ в России никогда не был и, как видно, при собирании бытовых материалов ни с кем из русских людей не беседовал. Однако, как он говорит, у него до сих пор был отличный козырь: его дед участвовал в Крымской кампании и собственноручно брал приступом Малахов курзал.

Познакомились мы с мсье Жуэ, разговорились. И при прощании я, по скверной русской привычке, предложил ему зайти как-нибудь ко мне продолжить беседу.

Казалось бы, это была простая формальность. А Жуэ, между тем, принял предложение радостно, попросил назначить время, когда можно прийти.

– Я бы очень хотел окунуться хоть раз в мистику славянского быта, – записав день и час, пояснил он.

Я шел домой с тяжелым чувством. Во-первых, пропадет целый вечер. А, во-вторых, все равно мсье Жуэ будет ставить картины так, как захочет. Об этом говорит и чрезвычайное самодовольствие, разлитое по всему его лицу, и то чисто европейское упрямство, с которыми он придерживается взглядов покойного деда.

– Погоди-ж, – злобно бормотал я, подходя к своей квартире. – Будешь ты у меня знать «Бедность не пророк» и «Княжну Василия»...

К четвергу для приема Жуэ я не поскупился на расходы по устройству русского быта. Купил водки, налил ее в самовар, в самоварную трубу вставил цветы; в столовой над горячей железной печкой, в виде полатей, протянул длинную доску, подперев ее с двух сторон чемоданами; буфетный шкаф передвинул из угла к окну, а угол задрапировал красной материей; затем приготовил кое-что из еды и питья: разбавил кофе вином, в чайник насыпал вместе с чаем корицы и перца, на столе расположил два национальных блюда: кусок сырого теста, с воткнутой в него свечой, и глубокую чашку с виноградом, облитым прованским маслом.

Была не была. Сам буду есть, сам буду пить, но покажу ему мистику.

Жуэ явился аккуратно. Минута в минуту. Вошел в переднюю, самодовольно поздоровался, с любопытством оглядел стены.

– А петушок где? – деловито спросил он.

– Петушок спрятан, мсье, – грустно сказал я, помогая гостю снять пальто. – На собрании в Трокадеро мы русские, поклялись друг другу, что, пока Россия не восстановится, петушков выставлять никто не будет.

Затем я отошел в сторону, поочередно взял со столика заранее приготовленные туфли, метлу, ключи, каракулевую шапку, халат и торжественно заговорил, отвесив низкий поклон:

– Брат мой, дорогой и любимый! Вступая в скромное жилище русского человека, не откажи отнестись с уважением к его священным обычаям.

– С удовольствием, мсье, – растроганно пробормотал Жуэ.

– Сначала сними, брат мой, брюки, пиджак и надень этот халат человеческой дружбы. Затем накрой голову шапкой согласия и мира. Пока ты находишься в доме, не снимай ее, прошу, чтобы не оскорбить очага.

– О, мсье. Конечно. Как можно!

– Башмаки тоже оставь, брат мой. Надень вместо них туфли мягкой сердечности. Теперь, когда все готово, я передаю тебе вот эти ключи. Ходи по дому, открывай все, что угодно. Не

прибегай только к помощи вот этого маленького ключика. Пользование им угрожает тебе смертью, брат мой.

– Вот этим? – побледнел Жуэ, со страхом разглядывая ключ. – Хорошо. А метла на что?

– Эта метла, брат мой, указывает, что ты, как гость, можешь вымести из квартиры все, что захочешь, не исключая хозяина. Возьми метлу в руки и идем. Я посажу тебя в красный угол, где ты вкусишь наше национальное питье и еду.

Он сидел в столовой в углу, задрапированном красной материей, с жутким любопытством оглядывался, ожидая, что будет. А я, вынув из кармана платок, поднял руку, в легких воздушных па русского танца прошелся по комнате и затем стал потчевать гостя.

– Русский калач, – склонившись на одно колено, произнес я, подавая на тарелке сырое тесто. – Ешь, брат мой.

– Мерси бьен, – пробормотал Жуэ, поднося тарелку к глазам. – Только это не сырое, мсье?

– Тот, кто в первый раз входит в русский дом, тот ест сырое. Кто входит во второй раз, ест печеное.

Я зажег свечу и, держа ее в руке, терпеливо ждал, пока Жуэ проглотит. Затем поочередно дал гостю рюмку водки, чашку кофе с вином, чаю с корицей и перцем и, наконец, начал угощать виноградом.

– Уиль д-олив? – вздрогнул он, подняв кисть и заметив, что с нее что-то каплет.

– Уиль д-олив с виноградом, брат мой.

– Я не могу есть, мсье. Я очень сыт.

– Брат мой! Ты оскорбляешь очаг!

– Мсье! Честное слово не хочется! Дайте лучше водки... Или вина...

Через полчаса я объявил, что официальная церемония кончилась, придвинул к красному углу маленький столик, переставил на него самовар, сам лег на палати над железной печкой, и мы стали мирно беседовать.

– Проклятая рана! – потирая левую ногу, со вздохом произнес я. – Уже пятнадцать лет прошло, а до сих пор болит место укуса медведя.

– А где вас медведь укусил, мсье?

– В Петербурге на Каменноостровском проспекте. Вышел, знаете, как-то из дому впопыхах и забыл взять ружье. А тут, как нарочно, целая вереница медведей. Идут, зубами щелкают. Двести человек при мне разорвали. А, вот хотите, мсье, расскажу случай? Как мы охотились в Петергофе на кабанов? Было это давно, лет двадцать назад... В охоте участвовал я, граф Малюта де Скуратов и депутат Думы Павел Милюков<sup>91</sup>, прозванный за свою храбрость Николаевичем...

Около десяти часов в квартиру ко мне постучали. Пришли неожиданно гости: Кудрявкин с женой.

Ничего не подозревая, Кудрявкины поздоровались, вошли в столовую... И увидели в красном углу мсье Жуэ: в халате, в каракулевой шапке, с метлой в одной руке, с рюмкой водки в другой.

– Это что за чучело? – отступая к дверям, прошептала Кудрявкина.

– Ничего, ничего... Это иностранец в гостях у русского варвара.

---

<sup>91</sup> Павел Николаевич Милюков (1859–1943) – политический деятель, историк и публицист. Лидер конституционно-демократической партии. Член «Прогрессивного блока» Государственной Думы, критиковавшего царское правительство и требовавшего создания правительства, подотчетного парламенту. Выдвигал обвинения непосредственно против царской семьи и ее окружения. В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства. С 1918 г. в эмиграции во Франции. Разработал «новую тактику», отвергавшую как продолжение вооруженной борьбы внутри России, так и иностранную интервенцию. Возглавлял Союз русских писателей и журналистов в Париже, редактировал газету «Последние новости» и журнал «Русские записки».

Остаток вечера, как легко догадаться, мы провели очень весело. Кудрявкин, вспомнив свое аристократическое прошлое, громко играл на гребешке, приложив к нему папиросную бумагу. Мадам Кудрявкина, тряхнув стариной и этикетом придворного быта, бойко хлопала в ладоши. А мсье Жуэ, несмотря на халат и на метлу, лихо танцевал русскую.

*Из сборника «Незванные варяги», Париж, «Возрождение», 1929, с. 68–72.*

## Лёня

Не думайте, что это выдумка, взятая из жюль-верновского романа «Дети капитана Гранта».

Происшествие с четырехлетним беженцем Леней – действительный факт. Подробности его могут рассказать вам не только родители мальчика, но и все лица, принимавшие участие в этой замечательной истории.

Дело в том, что у Лени здоровье слабое. Летом оставаться ему в Париже никак невозможно. А осматривающий Леню доктор дал хороший совет: для поправления здоровья отправить мальчика на юг в русскую санаторию возле Антиба, где в то время как раз освобождалась бесплатная вакансия.

Таким образом, послать Леню необходимо. Нельзя, кроме того, упускать случая.

Но как отправить?

Всем известно, какие теперь у детей папы и мамы. Мама одевает всю Америку, а сама не выходит из комнаты. Папа, наоборот, с утра до вечера мечется по городу, делая на такси сотни километров в день, но из Парижа выехать тоже не может.

Обдумывая способ, как бы пробраться к месту лечения в одиночном порядке, Леня спрашивал маму:

– А разве на моей лошадке нельзя?

Но мама и папа не одобряли проекта.

Провалился также и другой Ленин план: сесть в метро и ездить до тех пор, пока поезд не остановится в Антибе.

Ведь, от Антиба до санатория рукой подать!

Долго решали все втроем как быть с поездкой. Мама перебирала в уме знакомых, могущих уехать в отпуск на юг. Папа читал газеты – не отправляется ли к Лазурному берегу какой-нибудь общественный деятель для доклада или организации партийной ячейки. Леня же вздыхал, морщил лоб, предлагал, в крайнем случае, послать его в санаторию или по телефону или по телеграфу, и расспрашивал знакомых: нет ли у кого-нибудь свободного аэроплана, чтобы одолжили на короткое время?

Решено было, наконец, рискнуть. Купить Лене билет, посадить в вагон, попросить пассажиров присмотреть за ребенком. А в санаторию телеграфировать, что мальчик выехал с таким-то поездом.

Леня, как передают очевидцы, был страшно горд, что едет один. Трогательно попросившись со своим слоником и дернув на прощанье хозяйскую кошку за хвост, он торжественно выехал в папином такси на вокзал, с достоинством сел на то место, которое для него, суетясь в вагоне, выбрала мама. И пренебрежительно начал разглядывать пассажиров, которых мама просила не выпускать мальчика из купе, пока поезд не дойдет до требуемой станции.

– Хорошее дело! А если у меня будет маль о вантр?<sup>92</sup> – чувствуя, что мама не взвесила всех возможностей, обидчиво протестовал он.

К огорчению родителей и к тайной радости Лени, в вагоне не оказалось ни одного пассажира, который ехал бы дальше Марселя. Видя растерянность мамы и огорчение папы, Леня торжествовал. Но ему сильно не понравилось то обстоятельство, что родители стали прикалываться к его костюму и шапочке различные бумажки и письма.

На шапочке был установлен плакат на французском языке: «Господа пассажиры! Будьте любезны высадить мальчика на станции Антиб».

---

<sup>92</sup> Mal au ventre – боль в животе (фр.).

На груди красовался конверт, адресованный начальнику станции. В письме было сказано: «Мсье, ради Бога, наймите для мальчика фиакр в санаторию. Адрес прилагаем. За фиакр там заплатят».

К рукаву Лени был приколот железнодорожный билет. В карман курточки вшиты документы, указывающие на то, что Леня не имеет никаких гражданских прав.

И, наконец, на правом плече торчала прищипленная пятифранковая бумажка, а под нею записка: «Просят уплатить эти деньги носильщику, который возьмет чемодан и отведет мальчика к начальнику станции».

Все плакаты, записки и письма, украшавшие различные части костюма, показались Лене глубоко оскорбительными. Он хорошо помнил, как на улице видел несчастных людей, ходивших с подобными плакатами над головой. И не на шутку тревожила мысль: «А, вдруг, вместо санатории его отдадут навсегда в цирк?»

Кроме того, как-никак Леня большой мальчик. На целый год старше Юры. Через пять лет ему будет очень много: пять и четыре – четырнадцать.

Как ехал Леня в санаторию, не буду рассказывать. Переезд этот был, во всяком случае, гораздо интереснее перелетов Линдберга и Чемберлина. Но известно, что справедливость на свете – вещь очень условная. Когда взрослый человек, понимая, что делает, перебирается через океан из одного места в другое, его чествуют, забрасывают цветами, рвут от восторга на части. А тут четырехлетний Леня один, без мотора, без всяких попутчиков, с одними только плакатами, прибыл из Парижа Бог знает куда, и кроме какого-то сонного железнодорожного служащего и полицейского комиссара его не встречает никто.

Оваций нет, речей нет, цветов нет.

Сначала, с горя от такого приема. Леня вздумал поплакать. Направляясь вместе с комиссаром к извозчику, пустил несколько слез, стал утирать рукавом размякший нос...

Но комиссар оказался недурным человеком. Лицо у него добродушное, славное. Рука его, ласково похлопывающая по плечу, такая интересная – пухлая, волосатая.

И Леня успокоился. Важно сел в фиакр. На прощанье благосклонно спросил комиссара: – А что вы делаете с вашим лицом, мсье, что оно похоже на бетрав<sup>93</sup>?

И, благополучно прибыв в санаторию, ловко соскочил на землю, спросил извозчика, почему море находится с той стороны, а не с этой, и, поздоровавшись с подошедшей к воротам заведующей, бодро сказал:

– Вот и я!

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 3 июля 1927, № 761, с. 3.*

---

<sup>93</sup> Betterave – свекла (фр.).

## География Европы

Купил своему племяннику краткий учебник географии, выпущенный в дореволюционные годы, – и разочарован.

Никаких сведений для ребенка!

Странные числа никому ненужного народонаселения. Фантастический род занятий. Какое-то глупое сырье. Каучук, хлопок, кожа, мясо, руда...

Ерунда, в общем.

Поручили бы мне составить беженское руководство по изучению земного шара, я бы сделал это совершенно иначе. Все лишнее отбросил бы. Все необходимое прибавил бы. И вышло бы совсем по-другому, приблизительно так:

## Европа

**Албания.** Гористая страна, находящаяся на Балканском полуострове. До прихода русских отличалась дикими нравами и междоусобицами. Способ правления – неопределенный. Во главе страны полковник Миклашевский<sup>94</sup>, ротмистр Степанов<sup>95</sup> и др.

По причине гористости, местность требует больших расходов на обувь, а потому во многих местах неприступна.

Цены на продукты (местные наполеоны переведены на франки):

Мясо – 30 франков кило.

Хлеб – 5 фр. 50 сант.

Помидоры – 50 сант. кило.

Месячная цена комнат в Эльбасане, Тиране и Дураццо:

С полом и потолком – 400–600 фр.

Без пола с потолком – 200–400 фр.

Без того и без того 10000 фр.

Главные предприятия в стране:

Водочный завод Щукина в Эльбасане.

Русская баржа «Мирко» на Охридском озере.

Рыболовное дело Коровина на Адриатическом побережье. (Удочки системы белградского союза русских рыболовов-легитимистов).

**Республика Андорра.** Находится на границе Франции и Испании, но по причине отсутствия русских мирового значения не имеет.

**Бельгия.** Страна для обучения русских детей в закрытых учебных заведениях, главным образом, – бесплатно. Основное занятие жителей – благотворительные концерты. Для устройства русских техников и офицеров на места приобретена и приводится в порядок в Центральной Африке обширная колония Конго. Отношение русских к бельгийскому населению, благодаря миролюбию и лояльности последнего, благожелательное.

**Болгария.** Королевство, получившее свое название от Болгар или Волгарь, но населенное беженцами не только с Волги, а и с других рек, как-то: Днепр, Днестр, Дон, Нева и др.

Главное население страны – контингенты.

Род занятий – ожидание благоприятного времени.

Столица – мина Перник<sup>96</sup>.

**Данциг.** Вольный город, славящийся своим коридором, устроенным для свободного передвижения беженцев туда и сюда.

Цена комнаты по правой стороне коридора:

В Диршау, Нейнбурге и пр. 350–700 фр.

Цена на комнаты по левой стороне коридора:

В Конице, Тухеле и пр. 325–650 фр.

Отопление – центральное.

---

<sup>94</sup> Илья Михайлович Миклашевский (1877–1961) – полковник русской и югославской армий, участник Первой мировой и гражданской войн. В 1924 руководил отрядом русских солдат, свергнувшим в Албании прокоммунистически настроенное правительство, разгромив во много раз превосходящие силы противника и установивших власть президента Албании Ахмета Зогу (впоследствии первого короля Албании), сорвав планы большевизации Албании.

<sup>95</sup> По-видимому, это опечатка и имеется в виду Лев Павлович Сукачев (1895–1975) – офицер, первопоходник, галлиполиец, соратник И. М. Миклашевского в Албанском походе.

<sup>96</sup> Крупнейшая угольная шахта в Болгарии.

**Франция.** Наиболее населенное государство в Европе с главными городами: Париж (50 тыс. жителей), Медон (10 тыс.), Ванв-Малаков (5 тыс.), Марсель (4 тыс.), Ницца (3 тыс.), Крезо (1.000), Лион (950), Бельфор (600) и пр.

По национальностям население разделяется на: русских, евразийцев, республиканских демократов, украинцев, ноев-джорданцев, баталпашинцев, аксайцев, дарьяльцев, одесское землячество и прочие племена, враждующие между собою и отвоевывающие друг у друга залы Агрикультюр, Жан Гужон, рю Эрмель, Сквер Рапп, а также помещения различных мэрий.

Главный род занятий, помимо черного труда, труд неблагодарный: доклады, прения, диспуты.

Промышленность двоякого рода: добывающая (поиски мест, денег, квартир) и обрабатывающая (займы, вовлечения в предприятия, приглашение в компаньоны).

Господствующий язык – французский с нижегородским, а также различный арго: шоферское, кутюрское, бианкурское и проч.

Образ правления – республиканский, с постоянным учредительным собранием, с парламентом, составленным из председателей обществ, собирающихся отдельно друг от друга со своими собственными секретарями и казначеями.

Исполнительная власть – в руках временного правительства, а также у всех премьер-министров, министров, гетманов, батек, тулумбашей и прочих глав, имеющих в неограниченном количестве.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 10 июля 1927, № 768, с. 2.*

## Мысли и взгляды

Иностранцы нас спрашивают, в особенности квартирные хозяйки:

– Почему вы, русские, когда собираетесь, всегда засиживаетесь до глубокой ночи?

– Неужели вы не знаете, что из-за вас счетчик электрического освещения тоже не спит и вертится вместе с вами?

Отвечая на эти недоуменные вопросы, мы обыкновенно ссылаемся на Тютчева. Говорим, что нас, русских, сантиметром не измеришь, что счетчиком не запугаешь, что в нас можно только верить, а не расспрашивать, и что у нас особая статья, почему все подобные праздные вопросы совершенно некстати.

Но, оставаясь наедине сами с собой, мы все-таки должны задуматься над этим обстоятельством. А в самом деле: почему?

Физиологическая ли это потребность не смыкать ночью глаз? Или духовная жажда исканий на основании девиза: чем ночь темнее, ярче лампочка? Или это признак склонности к мистицизму? Приближение к потустороннему, которое вплотную подходит к нам в двенадцать часов по ночам, когда из гроба встает барабанщик, а заодно с ним начинают кружиться вии, ведьмы, кикиморы, лешие, черти и черт его знает, что еще.

Из всех приходивших мне в голову по этому поводу предположений я считаю самым верным одно:

У нас слишком много взглядов и мыслей. Чересчур много. Как ни у кого из иностранцев.

С раннего утра, в течение дня, даже за непрерывной работой, эти мысли и взгляды набегают на нас, накаплиются, садятся на первую попавшуюся извилину, застревают в мозгу, пускают глубокие корни, разрастаются к вечеру, как огород после дождя.

И ночью, когда все спокойно и никто не мешает, заросли эти приходится прочищать. Кое-что проредить, кое-что прополоть. Хорошую мысль окучить, подрезать, удалить лишние почки.

И сделать это в какой-нибудь один час или два, конечно, немислимо. Когда одна какая-нибудь самая скромная идея и та велика и обильна, а порядка в ней нет.

Ведь, даже самый неинтеллигентный русский мужичок, и тот, как мы помним, любил говаривать до революции:

– Сяду я за стол да подумаю.

И до сих пор думает.

А как же, в таком случае, быть нам, интеллигентам? Да еще после революции? Да еще с кругозором?

От обилия мыслей и взглядов мы легко засиживаемся у себя дома в одиночестве от восьми до двенадцати. Не замечаем ни счетчика, ни вздохов хозяйки в соседней комнате.

А когда соберемся вместе – тем более.

Вот, например, проводил я на днях вечеров в одной милой, симпатичной компании. Собралось нас немного, всего четыре человека. Но постепенно, по мере выявления взглядов, оказалось, что мы, четверо, придерживаемся двадцати различных непримиримых течений эмигрантской общественной мысли.

Борись Дмитриевич – евразиец, легитимист, карловчанин, советозволюционист.

Федор Степанович – западник, республиканец, народный социалист, интервенционист, советореволюционер.

Анна Андреевна – монархистка-нелегитимистка, полуевразийка-полузападница, в церковном отношении – лояльна, в отношении большевиков – революционерка, интервенции не признает, в эволюцию не верит.

И я у себя тоже подсчитал точки зрения. Пять.

Чтобы всем нам попарно поспорить по двадцати точкам зрения, конечно, нужен был порядочный срок. Ведь из теории соединений известно, что сочетаний в таком случае, независимо от количества лиц, получится:  $20 \times 19 / 1.2$ . То есть необходим 361 спор, не считая дополнительных.

А тут дело осложняется еще тем, что спорят не только попарно, но комплексами.

По вопросу об евразийстве, например, я блокируюсь с Федором Степановичем против Бориса Дмитриевича и временно примкнувшей к нему Анны Андреевны. По вопросу же о республике комплекс получается иной: Анна Андреевна, Борис Дмитриевич и я – с одной стороны, Федор Степанович с другой. А затем мы внезапно раскалываемся: Борис Дмитриевич в качестве легитимиста – одна группа, я, Анна Андреевна и Федор Степанович – другая.

Правда, беседа затянулась у нас, благодаря этому, далеко за полночь. Правда, пока мы окончили обмен точками зрения, нам кто-то три раза стучал сбоку в стенку, один раз снизу в пол, два раза сверху в потолок.

Но удивительно талантливы, все-таки, мы, русские люди! По теории детерминантов, к которой я прибегаю, чтобы высчитать комплексы споров по группам, выходило, что на всю беседу необходимо 5.428 столкновений.

А мы разошлись в ту же самую ночь, около 3-х. Обо всем поговорили, все успели выяснить, окончили выявление только кое-каких недосказанных мелочей возле подъезда на улице.

А иностранцы еще бранят нас, недоумевают, почему мы поздно расходимся.

Не догадываются, несчастные нищие духом, задать себе совершенно другой вопрос:

Как русские люди вообще успевают разойтись до новой встречи?

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 11 июля 1927, № 769, с. 2.*

## Уездный город Париж

Кто из нас, русских, не замечал, что Париж чересчур маленький город? По площади, спору нет, сильно разбросан. И улицы слишком уж длинные, и много всяких ненужных, в особенности, исторических.

Занимают, так сказать, без надобности место, вредят только быстроте сообщения.

Но, вот, попробуй здесь, в Париже, скрыться от любопытного русского взора, побеседовать с кем-нибудь с глазу на глаз.

Эмпоссибль<sup>97</sup>.

Или Бобчинский окажется рядом за столиком. Или Добчинский войдет. И оба радостно воскликнут:

– Э! Кого я вижу!

В вагоне пригородной железной дороги, в метро, в трамвае, положительно нет возможности поделиться с собеседником новостями, печальми, радостями.

Отведешь душу, выскажешь мнение об общем приятеле Павле Ивановиче, а через несколько дней неприятность:

Павел Иванович почему-то дуется. Едва руку протягивает.

– Нехорошо, нехорошо, – цедит сквозь зубы. – Моя семейная жизнь никого не касается, дорогой мой. В особенности, как мы живем: я ли на счет жены или жена на мой счет.

Молодым людям и всем тем, кому не лень в беженстве заниматься любовью, тоже житья нет от провинциальных парижских условий.

Поцелует Миша Ниночку по французскому обычаю где-нибудь в пустынном коридоре корреспонданс на Конкорд или Трокадеро, а в ближайшее воскресенье после богослужения на рю Дарю мама сурово допытывается:

– Нина! С кем ты во вторник пересаживалась на дирексьон Отей?

Кто из русских мог видеть интимную сцену между Ниной и Мишей – непостижимо. Но в том-то и дело, что нынешнего Бобчинского никогда не узнаешь по внешнему виду. Сидит, каналья, в метро, держит невинно в руках последний выпуск «Энтран» и делает вид, что читает.

Угадай по лицу, какой процесс происходит в подлой душе: легкое французское чтение или тяжелая русская мимикрия.

По внешнему виду Париж, действительно, город многомиллионный. Народу тьма, движение головокружительное. Но на самом деле, если откинуть все ненужное население, да отбросить все ненужные учреждения, да уничтожить такси, получится спокойный уездный городок с шестьюдесятью тысячами скучающих жителей.

И ничего более.

Кое-где на расстоянии двух-трех верст друг от друга, бакалейные лавочки, трактирчики. Портной Федоров из Парижа. Свои кинематографы для почтеннейшей публики. Свой театр. Своя парикмахерская. Богоугодные заведения Земгора. Купеческий клуб Ассомпсьон. Благородное собрание – Русский Очаг. Клуб приказчиков – Одесское землячество. Частная гимназия М. М. Федорова с правами. Детский сад г-жи Полежаевой без всяких прав. Гарнизонное собрание на рю Мадемуазель...

В этом скромном уездном городке жизнь течет своеобразная, тихая, глухая. Чуть-чуть. Как будто в стороне от железной дороги и от всего шумного мира.

Инженеры не строят, врачи не врачуют, адвокаты не защищают, прокуроры не обвиняют, председатели не председательствуют, военные не воюют, штатное – за штатом, чиновники – без портфелей, портфели без бумаг, бумаги без печати.

---

<sup>97</sup> Impossible – невозможно (*фр.*).

Многим в таком своеобразии нудной и скучной жизни естественно хочется знать хоть то, как живет и работает Иван Иванович, или как живет и не работает Иван Никифорович.

И соответственно с этим развиваются соответственные интересы.

Проедет по пустынной улице в бричке Чичиков, собирая души для голосования на ближайшем собрании, и все с любопытством уже высовывают головы:

– Куда он? К Ноздреву в «Дни» или к Манилову в «Новости»?

А акацатовские мужички<sup>98</sup> стоят тут же, на тротуаре, и рассуждают, сонно почесываясь:

– Доедет колесо до России или не доедет?

Провинциальная жизнь естественно рождает то, что свойственно медвежьим углам. Частые ссоры из-за гусака. Ревизоров неизвестно откуда. Бобчинских с Добчинскими. Сны относительно крыс, по которым можно угадывать будущее.

И слава Богу еще, что нет у нас до сих пор своего градоначальника и своей городской думы.

Дума вызвала бы новые раздоры из-за кандидатов в городские головы и в члены Управы.

А что касается градоначальника, то о его судьбе даже страшно подумать. Левая общественность мигом свергла бы его, гильотинировав на площади Согласия.

И снова открылось бы Учредительное Собрание. И снова кто-то его разогнал бы. И снова кто-то его открывал бы...

Да, скучно на этом свете, господа. В особенности в Париже.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 10 ноября 1927, № 891, с. 2.*

---

<sup>98</sup> Михаил Епифанович Акацатов (1873–1933) – один из создателей Всероссийского крестьянского союза, участник Белого движения, эмигрант.

## О любви к отечеству

Сложное это явление – патриотизм.

У русских в особенности.

Сидим мы как-то, на днях, в небольшой компании, в русском ресторане, обедаем. Посетителей много – почти все свои. Есть, однако, и несколько иностранцев.

– Неужели вы думаете, Виктор Иванович, что их склока так-таки ничем и не кончится? – начинает разговор на политические темы Федор Сергеевич.

– Конечно, ничем. Помяните меня. Подерутся, утихнут, потом опять подерутся, опять утихнут... А русский народ будет покорно созерцать эту картину и ждать помощи от Господа Бога.

– Да уж, действительно, народец у нас... – вздыхает Федор Сергеевич. – Богоносец, черт его подери. Вот когда именище чужое хочется цапнуть, или корову свою защитить – тогда энергия неизвестно откуда берется. А чтобы охранить национальное достоинство или поддержать честь русского имени, на это, извините, энергии нет, непротивление полное. Надежда исключительно на угодников Божьих, на Николая Чудотворца, на Мать Пресвятую Богородицу...

– Эх, господа, господа!.. – печально говорит Виктор Иванович, закуривая папиросу. – Сказать вам откровенно, я даже не знаю, стоит ли вообще когда-нибудь возвращаться в Россию. Мы, вот, все мечтаем об этом моменте, рисуем идиллическую радость вступления на родную почву. А что мы встретим в действительности на русской земле? Развращенную молодежь? Хулиганье, беспризорщину? Трусливое старое поколение, – забитое, привыкшее к гаденым компромиссам, к плевкам в свою собственную измельчавшую душу? Никакой радости в возвращении домой я не вижу, простите меня. Какой теперь у нас отчий дом, если в доме этом на кровати, вместо бабушки, волк в чепце лежит, а весь пол загажен волчьими экскрементами?

– Я, конечно, не так мрачно смотрю на вещи, как Виктор Иванович, – громко на весь ресторан говорит Федор Степанович. – Но доля правды в его рассуждениях безусловно есть. Вот, например, чего я не переносу, это – простых русских баб в платочках. Так и представляется наглая харя, щелкающая семечки, в промежутке визгливо кричащая «правильно, правильно, товарищ!». Или матросня, например. Брр!.. При одном воспоминании тошнота подступает к горлу... Мне, скажу прямо, любой негр из Центральной Африки гораздо роднее и ближе, чем матрос с крейсера «Аврора», или моя бывшая кухарка Глаша, из-за которой у меня произвели обыск и засадили на три месяца...

Разговор за столом довольно долго продолжался в этих пессимистических антинациональных тонах. Досталось во время беседы не только кухаркам, матросам и мужичку, но, конечно, и интеллигенции. Попало ей за все ее качества – и за маниловскую мечтательность, и за отсутствие государственного чутья, и за ребяческое идеализирование русского сфинкса, который оказался, в конечном счете, не сфинксом, а изрядной свиньей.

И в конце беседы неожиданно, вдруг инцидент...

Поворачивается к нам сидевший за соседним столом какой-то добродушный немец. На ломанном русском языке одобрительно говорит Виктору Ивановичу:

– Это верно! За ваше здоровье, милостивый господин!

Виктор Иванович машинально протягивает бокал, чокается. Но на лице, кроме недоумения, выражается и ясно обозначенная тревога.

– Что, собственно, верно? Я вас не понимаю, мсье.

– А это все верно... Что вы говорили. Что русский шеловек – свинья. Я тоже жил в России, все видел. Русский баба – такая животная!

Что произошло за нашим столиком после одобрения немца – трудно сказать. Виктор Иванович, побагровев, вскочил. Федор Сергеевич, сорвавшись с места, взялся за палку. А Вера

Андреевна, которой принадлежала мысль о том, что вся русская интеллигенция – сплошная дрянь, замахала руками, завизжала:

– Уберите этого нахала! Как он смеет, дурак?

Расставаясь со своими друзьями, я не удивлялся тому, что немец пострадал очень сильно. Меня не поражало то обстоятельство, что Виктор Иванович сам вел немца к двери, а Федор Сергеевич своим энергичным коленом помогал ему прыгать на тротуар.

Удивляло меня одно: как у русских людей сложно национальное чувство, как болезненно изломан патриотизм.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 28 ноября 1927, № 909, с. 2.*

### Святочный рассказ

Настала дождливая ночь. На бийанкурской набережной, в предместье Парижа, у красного двухэтажного дома, в котором помещается «бюро д'амбош»<sup>99</sup>, безлюдно. Тускло светится мокрая мостовая, вздрагивая отблесками газовых фонарей. Над обрывом у Сены жалобным гулом переговариваются высокие тополя, вереницей направляющиеся к севрскому мосту. За черной полосой будто куда-то провалившейся реки, застыл хмурый остров, окутанный сетью оголенных деревьев.

Ветер уже с раннего вечера злобствует: рвет в пыль мелкие капли дождя, бросается рябым лицом в холодные выбоины, взбирается на тополя, угрожая кому-то сухими сучьями, и изнеможенно, вдруг, падает в реку, разбегаясь змеями к далеким зеленым огням.

На дырявых сваях старой пристани, под которой в невидимой воде глухо о чем-то ворчит баржа, сидят две белые тени. Дождь и ветер не производят на них впечатления. Одна плотно укуталась в саван, не движется. Другая распахнула покрывало, разложила на коленных чашках план Парижа, внимательно разглядывает улицы.

– Ну что, нашел адреса?

– Плохо дело. Очень плохо. Всего две, три квартиры, не больше.

– Вот то-то и оно. Я тебе говорил. Да разве у наших православных теперь есть нежилые дома? Все набито битком. Будь мы с тобой иностранные духи, тогда дело другое. Иностранному духу есть где погулять, погрохотать. А нам? Попробуй-ка залезть во французскую квартиру – католические духи мигом – в шею. Нет, ты как хочешь, а я никуда не пойду.

– Но, ведь, сегодня рождественская ночь, брат мой! Сегодня, согласно обычаю, мы обязаны пугать православных!

– Мало ли что обязаны... А как? Возьми хотя бы консьержек. Одни они и то обратно в гроб вгонят. Ведь, ходил же я в прошлом году пугать Иванцова. А что вышло? До половины лестницы не добрался, весь дом переполошил, едва ноги унес. Разве можно, чтобы в одном доме да столько народа? Вот, у нас, в России, действительно, помню, раздолье. Одна небольшая семья, человека три-четыре, а комнат – пятнадцать. И удобства какие! Скрипучая лестница, сверчки на печи, мыши, тараканы, ржавые петли у ставень... Чего только не было. А тут? Нет, что касается меня, то заберусь я лучше на ночь куда-нибудь в пустой ресторан, да тихонечко просижу до утра. Есть здесь уютные русские столовые: сиди хоть круглые сутки, никто не заметит.

– А я все-же пойду. Хоть и трудно, но не могу. Русским людям праздник не в праздник, если их не припугнуть.

Ветер продолжал свистать и улюлюкать на набережной. Дождь бил в лицо, в фонари, в дома, куда придется. Деревья по-прежнему гудели, вздымая к небу молящие руки.

---

<sup>99</sup> Bureau d'embauche – бюро по найму (фр.).

А по мостовой, в сторону Парижа, уныло брела мокрая белая фигура, жалобно звякая по асфальту ржавыми железными цепями.

\* \* \*

В комнате у Пончиковых давно темно.

Легли после скромного Сочельника рано, так как завтра обычный трудовой день. Спит усталая Ольга Ивановна, видя во сне меретки. Тяжело дремлет Степан Александрович, которому снится, будто попал он в Советскую Россию и никак обратно не может выбраться. Крепко уснул малолетний сын Митя, утомленный исключительными событиями минувшего вечера.

– О-ох! – раздался в дверях тяжелый стон. – Ох!.. Дззз... Грр!

Зазвенели ржавые цепи. Высокая белая фигура неуклюже продвинулась к свободной стене. Ударившись ногой об угол шкафчика, подошла к кровати Пончиковых.

– Степа!

– Ыы?...

– Степа! Кто это пришел?

– Чекист? – испуганно вскрикнул, вскакивая, Степан Александрович.

– Привидение... Степа! Смотри!

– Привидение? Слава Богу... Чего же ты напрасно пугаешь, Оля?

Степан Александрович облегченно вздохнул, искоса взглянул на призрак, опустил голову на подушку.

– А я думал из ГПУ... Ложись, спи. Не обращай внимания.

– А если вор? Если пальто украдет?

– Да какой это вор? Призрак! Совершенно прозрачный.

– В самом деле. Прозрачный. Боже мой, Боже мой! В половине седьмого вставать, а тут еще призраки!

Ольга Ивановна зевнула, устало закрыла глаза, повернулась на бок.

– Оох!.. – снова раздался стон, а затем звон. – Дззз... грр!

Привидение колыхнулось, двинулось с места. Протиснувшись между камином и креслом, навалилось на стол, с которого покатылся стакан.

– Тяжело мне без отдыха носить кандалы! – послышался глухой замогильный голос. – Тяжко, люди, мне, тяжко!

– Ну, ну! – пробормотал во сне Степан Александрович. – Пошел вон!

– Убили в шестнадцатом веке... По приказу Царя... Не похоронили нигде...

– Вот еще надоел! – зашевелилась на кровати сонная Ольга Ивановна. – Степа, ткни его чем-нибудь. А то не отстанет.

– С тех пор блуждаю... Нет покоя, пристанища. Горе мне!

Привидение молча постояло еще некоторое время, провело рукой по голове Ольги Ивановны, дуло в лицо Степану Александровичу. Затем, не добившись ничего, направилось к детской кровати, сердито сдернуло с Мити одеяло.

– Проснись хоть ты... дрянной мальчишка! Я здесь!

– А кто? – обиженно открыл глаза Митя, натягивая на себя одеяло.

– Я, привидение! Ууу!

– А что такое привидение?

– Призрак я! Бездомный! Убили в шестнадцатом веке.

– А что такое призрак?

– Дух! Бесплотный дух. Нет покоя нигде. Блуждаю!

– А что такое бесплотный?...

Митя не договорил, закрыл глаза. Загрохотали в ответ цепи, запрыгала на месте разгневанная фигура. А из-за стены послышались возмущенные голоса, раздался энергичный стук в перегородку:

– Дю кальм, силь ву плэ! Силанс!<sup>100</sup>

\* \* \*

Воротилов еще не ложился. Сидел у стола, с увлечением вычерчивая изобретенный им аппарат, на который предполагал взять патент. Изобретение должно было предохранять пешеходов от автомобилей и представляло собой легкую металлическую сетку с резиновыми буферами с четырех сторон.

Перспективы были чрезвычайно заманчивы: себестоимость 800 франков, продавать можно за 2.000, комиссионных – 40 процентов, чистого дохода 400. Если из всех пешеходов мировых столиц аппарат приобретут только два процента, и то получится не меньше миллиона. Значит, четыреста на один миллион – 400 миллионов.

– Ки э ла?<sup>101</sup> – удивленно спросил Воротилов, оборачиваясь. В коридоре, возле дверей, он ясно услышал громохание цепей и тяжкий вздох.

– Иван Николаевич, вы?

Вздох повторился. Воротилов подошел к дверям, распахнул.

– Кто здесь?

В темном коридоре неподвижно стояло привидение огромного роста, испуская таинственный фосфорический свет.

– Призрак? – деловито спросил Воротилов, с любопытством всматриваясь в фигуру.

– Привидение... – мрачно кивнув головой, ответил Дух.

– Ко мне? Или к соседям?

– К тебе.

– В таком случае, антрэ!

Воротилов любезно посторонился, пропустил привидение. Пока Дух располагался у стены, в мозгу Воротилова уже шла лихорадочная работа. Предохранительная сетка против автомобилей, конечно, в данном случае не пригодится. Но разве можно не использовать такого визита? Призраки на улице не валяются. Спрос на все мистическое очень велик.

– По случаю Рождества изволили заглянуть? – закуривая папиросу, задумчиво сел Воротилов в кресло.

– Да... Пугать хожу православных. Страх наводить.

– Ну, что же. Дело хорошее. А что: пугаются? Не желаете ли, кстати, папиросочки? Хотя синенькие, дрянь, но все-таки...

– Не курю я. Нет мне покоя! Блуждаю!

– Ах, уж не говорите. Я сам, голубчик, который год в таком положении. А у вас какие условия? Сдельно пугаете? Или помесечно?

– Без отдыха... Каждую ночь. Под Рождество особенно... С шестнадцатого века брожу...

– С шестнадцатого? Это, действительно... Стаж. Можно сказать – спесиалитэ<sup>102</sup>. А из-за чего это с вами, если не секрет?

– Не погребен. Убили по приказу Царя. В подвале оставили. Нет пристанища. Нигде...

– Так, так... Не погребли. Понимаю. А знаете, что? – Воротилов встал, быстро направился к Духу.

---

<sup>100</sup> Du calme s'il vous plaît! Silence! – Успокойтесь, пожалуйста! Замолчите! (фр.)

<sup>101</sup> Qui est là? – кто там? (фр.)

<sup>102</sup> Spécialité – специальность (фр.).

– Я могу предложить вам отличную комбинацию, – взяв Духа за отворот савана, радостно произнес он. – Я вас погребу, хотите? Вы мне укажете точный адрес, где ваше тело лежит, и я спишусь, с кем нужно, в России. А вы, со своей стороны, заключите со мной договор на два года с условием ежедневно выступать в кабаре. Всю организацию дела я беру в свои руки. Переговоры с ресторанами, реклама, помещения – это все я. Вы только появляетесь, громыхаете цепями и стонете. Если публика пожелает потрогать руками, чтобы убедиться в бестелесности, вы сопротивляться не будете. Весь доход с предприятия в течение двух лет получаю, конечно, я, деньги вам, все равно, не нужны. Ну, а, тем временем, я списываюсь с Россией, мои люди выкапывают вас из подвала и, по истечении срока контракта, хоронят. По рукам?

– Я уйду... – побледнело привидение, отступая к дверям. – Я не могу. Чур меня!

– Что? Не выгодно? Погодите. Одну минутку. Ну, хорошо, не два года, а полтора. К 25 июля будущего... Идет?

– Чур меня!

– Год, в таком случае! Черт с тобой! Год! Что? И это не годится? Не понимаю! С шестнадцатого века блуждаешь, а один год потерпеть не в состоянии. Привидение! Мы еще обсудим! Привидение!

Воротилов подскочил к двери, захлопнул, чтобы не дать возможности призраку уйти обратно. Заметавшись по комнате, Дух бросился ко второй двери, ведшей в соседний номер, торопливо сбил с ног цепи, стал протискиваться сквозь замочную скважину.

– Полгода! Согласен! Три месяца! Месяц! – восклицал, между тем, Воротилов, держа Духа за подол и стараясь втянуть обратно в комнату. – Похороны по первому разряду! Доход пополам! Не хочешь? Идиот!

\* \* \*

Кончалась ночь. Пропели вторые петухи. Уже готовились к своей очереди третьи. На улицах Бийанкура было пустынно и тихо. Дождь по-прежнему шел. Ветер по-прежнему выл. Мрачно глядели с разных углов черные окна закрытых ресторанов. И только в одном из них неясно дрожал в стекле слабый фосфорический свет.

За столом, покрытым белой бумагой с красными винными пятнами, сидело два призрака. Один уныло смотрел через окно в темное небо. Другой нервно ерзал, испуганно оглядываясь по сторонам.

– А это не он? Приближается!

– Да брось ты. Все время мерещится. Ящик это, не человек.

– Ящик? Да, да. Верно. Ящик. Ах, Господи, Господи! Ночь-то какая! Ветер. Дождь. Ни зги не видно. Всюду чудятся люди... Хоть бы утро скорее!

*Из сборника «Незванные варяги», Париж, «Возрождение», 1929, с. 89–96.*

## Ира

Восемь лет не видал я Ирочки.

Тогда, в Батуме, это был еще крошечный трехлетний карапуз, с которым мы нередко сжижвали на берегу моря возле бульвара и бросали камни в море: кто дальше кинет.

Занимались мы этим делом потому, что работы ни у нее, ни у меня все равно не было, а до падения большевиков оставалось еще довольно много времени.

Теперь Ирочке одиннадцать лет, и она уже совсем большая. Учится во французском лицее, получает награды, прекрасно рисует животных, людей, ангелов и вообще, что придется; а, главное, отлично сочиняет французские стихи.

– Я по-русски тоже умею – скромно говорит она, – но только русский язык гораздо труднее для хороших писателей.

Правда, взрослой барышней Ирочка сделалась совсем недавно, года три назад, когда ей стукнуло восемь лет. Она со смехом теперь вспоминает, как была мала и наивна, когда приехала с мамой в Париж, и в первый раз, например, увидела на улице негра. Хотя и сделала вид, что не испугалась, но вечером, ложась спать, все-таки тревожно спросила:

– Мамочка: а эти черные звери в костюмах никогда не кусаются?

Теперь Ира совсем не такая глупышка, и не только не боится негров, но даже рисует их физиономии в своем альбоме; во всяком случае, лучшая ее картина, сделанная водяными красками, называется так: «Негры и негрессы в Негритянии».

Итак, после восьми лет разлуки мы встретились, наконец, с Ирочкой, оба уже взрослые, сильно возмужавшие и хорошо пожившие за время эвакуации и всевозможных передвижений туда и сюда. Мама, бабушка и дедушка вышли в столовую, когда я явился к ним, не сразу. Ирочке поневоле пришлось занимать меня в качестве хозяйки, пока застигнутые врасплох старики готовились к выходу.

Хотя и не могла она меня вспомнить, как следует, несмотря на все мои напоминания о кругах на воде во время бросания камней, однако, обрадовалась, что я тоже из ее родного Батума. Доверчиво отнеслась как к земляку; под села ближе и с места в карьер задала загадку, стараясь говорить с кавказским акцентом:

– А вы знаете, что такое: спереди газ, сзади пар, все время бегают, ничего не находят? Это мой брат Гаспар, безработный.

С кавказских загадок беседа постепенно перешла на загадки французские.

– Что такое, – спросила она, – днем черное, ночью белое? Что вы сказали? Старая электрическая лампочка? О, нет. Наоборот. Это мсье кюре, когда он одет, и когда он раздет...

После загадок Ирочка заговорила о серьезной литературе, главным образом, о своих собственных стихах. Продекламовала очень недурное на узкосемейные и школьные темы. И перешла, наконец, к вопросу о своих занятиях в лицее.

А начальница у тебя симпатичная?

– О, да, очень. Одно только неприятно: любит делать уколы и замечания. Вообще очень пикантная женщина.

– А русскому языку тебя кто-нибудь учит?

– Да, конечно. Мама учит. Только не всегда, а на Пасху, на Рождество и летом. Осенью не учит.

– Хорошо... А, скажи... Что такое, например, плести лапти? Знаешь?

– Плести ля пти? Конечно. Очень просто. Пти пуан<sup>103</sup> делать. Гобелен.

– Ну, нет, извини... Врешь. Лапоть что такое, по-твоему?

<sup>103</sup> Petit point – особый гобеленовый стежок, способ вышивки (*фр.*).

– По-русски?

– По-русски, понятно.

– Не знаю... Кружева, может быть, Или трикотаж. Ну, а еще?

– Слово кушак знаешь? Кушак... Гм... Кушанье? Нет? Не знаю. Что не знаю, то не знаю. А гумно?

Гумно? Хи-хи... Гумно. Тоже не знаю.

– А закрома?

– Ну, оставьте, пожалуйста. Это вы все нарочно. По-турецки, должно быть. А хотите я напишу русское диктэ? Я умею. Дедушка по воскресеньям, когда свободен, диктует, а я пишу и ять ставлю. Большевики ять выкинули, а я им нарочно... Хотите?

Она сидела против меня за столом, усердно писала, переспрашивая слова, задумчиво грызя карандаш. И когда посмотрел, что в конце концов вышло, жуть взяла.

– Милая моя, да ведь это совсем по-болгарски! – не удержавшись, воскликнул я. – Почему у тебя посреди «бабушка» твердый знак поставлен?

– А здесь «б» твердое. И потом, большевики твердый знак тоже выкинули.

– А среда почему через «ять»? И весна?

– Не надо разве? Ну, хорошо, зачеркните. Хотя, по-моему, жалко.

– Да, да, неважно. Ошибок много. Вот, например, «велесепед». Четыре «ять», Ирочка. Разве можно позволять себе такую безумную роскошь?

Вошедшая в столовую Екатерина Евгеньевна прервала наши занятия. Любезно поздоровавшись со мной, потрепала по плечу Ирочку и, узнав в чем дело, деловито заметила:

– Это все потому, что Ира у нас ярая контрреволюционерка. Те слова, к которым питает особенную любовь и уважение, всегда пишет через «ять», как бы я против этого ни возражала.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 6 декабря 1927, № 917, с. 2.*

## Монтаржи (историко-этнографический очерк)

Говорят, что путешествия развивают человека.

Это правда.

Съездил я на днях в Монтаржи. Поехал вечером в 5 час. 42 мин., вернулся на следующий день утром в 6 час. 45 мин.

А сколько впечатлений!

Намерения у меня, правда, были слишком широкие: изучить за это время французскую провинцию, окунуться в своеобразный романский быт, пронзить пытливым оком глубь веков...

Но если результаты в этом отношении получились не очень богатые, то виноваты, конечно, русские, из-за которых даже французского леса увидеть невозможно. А кроме того, помешал и поезд-экспресс. Разве можно, в самом деле, изучить детально своеобразие быта, окунаясь в него со скоростью шестидесяти километров в час?

Только благодаря сильному напряжению воли удалось мне увидеть кое-что сквозь запотевшее, наглухо закрытое, окно.

Во-первых, несколько отличных семафоров, очень красивых, сделанных в полоску белыми и красными квадратиками. Наверно, ручная работа местных мастеров.

Затем, станцию видел, когда проезжали. Своеобразная. Посреди домик. По бокам деревья. Сзади тоже что-то растет. Не то дом, не то мастерские; а у самой крыши оригинальный ребенок и написано: «савон Кадум»<sup>104</sup>.

Где-то на промежуточной станции наблюдал тоже очень любопытный местный обычай.

Поезд подходит, а какой-то господин в котелке держит в руке красный чемодан и суется. Чего он суется, я так и не узнал, хотя долго расспрашивал кондуктора. Но лицо пассажира до сих пор стоит перед глазами: сосредоточенное, тревожное, можно сказать, даже чуть-чуть испуганное. Местный ли это обычай – пугаться, когда поезд подходит, или же население в этой части Франции вообще слишком нервное, – не узнал, к сожалению. Хотел опять обратиться с вопросом к кондуктору, но русские соседи по купе помешали.

Ехало то нас на концерт целых шесть человек, и, понятно, все разговаривали. А какое французское объяснение может быть услышано, когда шесть русских человек в вагоне беседуют?

Достаточно было и одного голоса К. Е. Кайданова<sup>105</sup>, который в ожидании выступления на концерте, время от времени прочищал свой бас могучей хроматической гаммой, а в промежутках говорил:

– Я, господа, из-за поездок в Барселону не успеваю даже газет читать. Все номера, конечно, сохраняю, вожу с собой, но просматриваю только тогда, когда урву свободное время. Вот, сегодня утром, с номером 745 успел ознакомиться. Оказывается, какой-то Линдберг собирается из Америки в Европу лететь. Каков смельчак, а? Кроме того, говорят, румынский король Фердинанд тяжело заболел, врачи опасаются...

В окне промелькнули огни. Пытливо протирая рукавом стекло, я старался вникнуть в сущность этих огней, чтобы из памяти не ускользнула ни одна мелочь, ни одна характерная

---

<sup>104</sup> Savon «Cadum» – мыло «Кадум» (*фр.*), старинная французская марка.

<sup>105</sup> Константин Евгеньевич Кайданов (1879–1952) – артист оперы и оперетты, бас. Солист Петроградского театра музыкальной драмы. С 1920 г. в эмиграции, выступал в Русской частной опере в Париже, гастролировал в различных странах.

деталь. Но К. Е. Кайданов продолжал отвлекать внимание жалобами на трудность чтения газетных романов.

Как оказывается, достаточно ему несколько номеров подобрать неправильно, – и фабула страшно запутывается, а кто кого убил и почему, – неизвестно.

Прибыли мы в Монтаржи через два часа. Моросил своеобразный провинциальный дождичек, от которого пришлось сейчас же укрыться в крытый автомобиль. Заводской театр, где должен состояться концерт, находится от станции в расстоянии около трех километров. В окно автомобиля, мчась к заводу, я старался рассмотреть город, чтобы ознакомиться с духом, но К. Е. Кайданов стал передавать запутанное содержание романа «Зеленый стрелок», и мы незаметно подкатали к театру.

Театр в Монтаржи огромный, своеобразный, построенный, очевидно, в эпоху Филиппа Красивого. Сбоку стены, наверху крыша, а внизу, на стульях, сплошь русские беженцы.

– Эти декорации, должно быть, эпохи Ренессанса? – начал расспрашивать я одного из местных земляков, обходя театр и внимательно осматривая его достопримечательности.

– Нет, значительно позже, – скромно ответил полковник, – Наш русский художник эти декорации написал. Вот он идет, видите?

– А каков местный французский быт и его особенности, вы не можете кратко сказать?

– Отчего кратко?... Могу и подробно. Живем, слава Богу, дружно, администрация относится хорошо, во всем идет нам навстречу. Лично я, например, имею приличную комнату в замке за 15 франков в месяц, огород развел, две десятины добавочно арендную... Труд на земле, конечно, тяжелый, но что поделаешь... По праздникам, все-таки, стараемся культурные развлечения организовывать, из Парижа к нам кое-кто приезжает...

Полковник рассказывает еще много о жизни своей в Монтаржи. Слушаю его внимательно, гляжу на море голов в зрительном зале, в душе поднимается горделивое чувство за своих русских людей, не сгибающихся под тяжестью суровой жизни. А когда начался концерт, особенно трогательно было видеть жадное внимание слушателей, это неразрывное единение русского таланта с чутким зрительным залом. Герои вечера К. Е. Кайданов, Т. А. Фохт, Е. Б. Чепелевская, Ю. И. Померанцев – все встретили самый сердечный, горячий прием...

– *Comman sa va?*<sup>106</sup> – спросил я после концерта французского журналиста, с которым меня познакомили, и которого я решил, наконец, использовать, чтобы ознакомиться и с историей Монтаржи и с особенностями провинциальной Франции в настоящее время.

– Мерси, бьен, – любезно ответил журналист и начал расхваливать русских, принесших сюда свой талант, честный труд и твердость национального духа...

В половине шестого утра мы выехали обратно в Париж. Было темно всю дорогу. Но, несмотря на темноту, на обратном пути мне удалось опять понаблюдать кое-что, кое-что зафиксировать.

Видел огромный шлагбаум с белыми и черными полосами. Промелькнул, оставив неизгладимое впечатление о пересекавшей железнодорожный путь шоссейной дороге.

Встретил затем семафор. На этот раз не четырехугольный, а круглый, с зеленым огнем.

А затем незаметно въехали в Париж. Масса путей, Лионский вокзал, такси... Поездка окончилась.

Специалисты путешественники утверждают, будто для всестороннего развития нужно путешествовать многие годы.

Но это может быть так для иностранцев. Что же касается нас, русских, то мы можем развиваться и гораздо быстрее.

Ведь, вот только от половины шестого вечера до половины седьмого утра ездили мы. А сколько историко-этнографических сведений! И главное – комната за 15 франков! А?

<sup>106</sup> *Comment ça va* – как дела? (*фр.*)

*«Возрождение», Париж, 16 января 1928, № 958, с. 3.*

## Новые конквистадоры

С каким-то трогательным чувством прочел я у нас корреспонденцию Павла Гордиенки об условиях жизни в Коста-Рики.

Оказывается, и там наши.

Об Аргентине и Парагвае, например, мне давно известно, что оборона этих республик находится в опытных русских руках.

Но вот, насчет Коста-Рики, сознаюсь, ничего до сих пор не слышал. Смутно только догадывался, что не станет на твердый путь прогресса и цивилизации Коста-Рика, пока наши случайно не приедут и не возьмутся за дело.

И предчувствие не обмануло: летчик Толмазов уже организует в Коста-Рике аэропочту. Другой энергичный соотечественник, сеньор дон Пабло Гордиенко тоже приехал.

Приводят оба республику в порядок, изучают слабые места, присматриваются к сильным. И, в конце концов, сделают то, что нужно. Коста-Рика найдет себя.

Задумываясь над исторической ролью российской эмиграции и, стараясь обнаружить в ней, помимо непрестанной пропаганды против коммунизма, общекультурный цивилизаторский смысл, я нередко прихожу к заключению, что миссия наша очень обширная.

Приободрить земной шар. Влить в него энергию. Научить разношерстные народы, разбросанные там и сям, между обоими полюсами, уменья рационально работать, рационально отдыхать, рационально мыслить и рационально развлекаться.

А это, согласитесь, не всякая нация может. В особенности, такая, у которой одышка.

По природе своей, почти каждый русский человек – Петр Великий, даже в тех случаях, когда он не Петр, а Павел или Иван. В каждом из нас глубоко заложены мореплаватель и плотник, и вечный работник – нужно только, чтобы для обнаружения этих способностей были под руками парходик, пила, рубанок и объявление о том, что опытный инструктор требуется туда-то, тогда-то, на такое-то свободное место.

Как нужно работать под землей, мы уже показали в шахтах Болгарии, Франции, Бельгии. Как нужно работать на земле, мы показали в Бразилии, Канаде и Абиссинии. Как нужно работать в воздухе, мы показали в Геджасе, Коста-Рике и Сербии. Как нужно работать на воде, мы показали везде, где принимают на службу. И даже под заграничной водой наш соотечественник Бохановский, как мне известно, побил рекорд, проведя 5.000 часов в костюме водолаза при поднятии крейсера «Либертэ» и при других водолазных работах.

Благосклонно приняв на себя роль инструкторов по оздоровлению земного шара и по приобщению его к высшим культурным задачам, мы, однако, не становимся жестокими и заносчивыми по отношению к туземцам. В противоположность конквистадорам, мы не только не вырезаем и не уничтожаем вверенного нам населения, а, наоборот, увеличиваем его, насколько возможно, вступая в браки с туземками. Недаром, англичане боятся этой нашей черты – уменья ассимилировать. И велика их ошибка, поэтому, в нежелании восстановления России. Раньше русифицировали бы мы только какую-нибудь Персию, или Афганистан. А теперь ассимилируем Лондон, Париж, Берлин, Коста-Рику, Аргентину. И владем не только морями, но всей сушей, включая сюда и промежуточные болотистые местности.

Беспокоил англичан какой-то скромный пограничный отряд на Кушке, под командой капитана Балакина. А теперь получили: раджа Сорокин в Бомбее, магараджа Чубаренко в Непале, сеньор дон Пабло Гордиенко в Коста-Рике, сеньор дон Мышковский в Аргентине, эччеленца Беяев в Парагвае, эфенди Иванов-паша в Трапезунде, жрец могоанга Петренко в бельгийском Конго, мистер Кедров в Нью-Йорке, сэр Никита Балиев в Лос-Анджелесе...

За истекшие семь-восемь лет эмиграции, научили мы земной шар всему, кажется: и копать, и стругать, и шить, и кроить, и вышивать, и танцевать. Показали даже, что значит

четыреголосное пение, без которого тянули бы они свои песенки в унисон, не понимая, что петь на земном шаре – вещь ответственная и перед людьми, и перед Богом.

А европейцы до сих пор завистливо не хотят признать за нами нашей исторической миссии. Все ссылаются на устаревших Васко Да Гама, на Магеллана, на Христофора Колумба.

Между тем, можно ли сравнивать ту эпоху и эту?

Находишься наша эмиграция за границей не сейчас, а тогда – в пятнадцатом и шестнадцатом веке... Что было бы! Кубанские и донские казаки моментально появились бы в Северной и Южной Америке.

Поехали бы джигитовать, вернулись бы обратно, удовлетворенные успехом. Далее сами не заметили бы, что открыли новые страны.

Но теперь, в наше время – учить, просвещать, завоевывать, открывать, инструктировать, давать пример, когда все завоевано, все открыто, все обучено, все инструктировано... Это не шутка.

В особенности, если принять во внимание, что Америка не только открыта, но, благодаря квоте, уже и закрыта.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 3 марта 1928, № 1005, с. 2.*

## Земля, земля...

### I.

Странное дело. В России никогда не было у меня желания сесть на землю.

Жил всегда в городах, с пренебрежением смотрел на тех, кто сеет, веет, посеваает, жнет, сажает, окучивает.

Непонятной казалась эта любовь к свиньям, к гусям, к курам. Даже чуть-чуть стыдно было видеть, как взрослый интеллигентный человек выходил во двор с мешочком кукурузы в руках и начинал нежным влюбленным голосом взывать:

– Цып-цып-цыпашечки!

Теперь, за границей, как-то изменилась вся психология, а вместе с нею и логика. Чем больше живешь, тем больше тянет купить хотя бы небольшой участок, отгородиться от внешнего мира частоклом и отдохнуть от передвижений по земному шару.

Как часто бывает... Сидишь дома за столом, обопрешься на локти и мечтаешь:

– Как бы сесть?

Конечно, очень существенным затруднением является то, что нет денег на покупку участка. Но если сравнить эти деньги с той суммой, которой не хватает на постройку хорошего дома, то ничего. Беда не большая.

Главное, трудно остановиться на местности. Где купить? С какой стороны от Парижа? С севера? С юга? С запада? И вообще, если начнешь как следует анализировать и углубляться в суть дела, сейчас же замучит проклятый вопрос:

– С какой стати я собственник именно этой точки земли? А если суждено мне быть землевладельцем в Аргентине? Так-таки и загубить себя бесславно в каком-то Пти-Кламаре, в Шелле, или в Жювизи?

Вот при подобной аналитической нерешительности и слабохарактерности я и пережил на прошлой неделе несколько нервных, в высшей степени мучительных дней. Приходит ко мне в гости приятель, садится к столу и небрежно бросает:

– Кстати, знаете? Я купил землю.

Будь это прежде, в России, собеседник бы не вызвал во мне ничего, кроме чувства снисхождения и жалости. Но тут непреодолимая зависть сразу же разлилась по всему организму. Я покраснел, поперхнулся чаем.

– А где, Сергей Иванович? Не секрет?

– Отчего же секрет. С удовольствием скажу. У нас еще масса свободных участков.

Он назвал местность, показал ее на общем плане банлье<sup>107</sup>. И продолжал бодрым, уверенным тоном:

– Целый поселок образуется, понимаете. Проведены шикарные улицы... В мае будет водопровод, электричество, газ... Местоположение – восторг. С одной стороны лес, с другой поля. Вид великолепный, пейзаж крестьянский... И знаете, сколько квадратный метр? Двадцать четыре франка! И, знаете, на сколько лет рассрочка? На восемь. И знаете, сколько платить в месяц? Сколько вы можете. И знаете, сколько задатку? Ничего!

– Это что же: филантроп продает? – чуть дыша, произнес я.

– Должно быть, филантроп. И во всяком случае – русофил. Я говорит, хочу, чтобы у меня побольше было вас, русских. Мой поселок, да будет вам второй родиной, дорогие мои. Я,

---

<sup>107</sup> Banlieue – пригород (фр.).

говорит, не притесняю. Хотите платить в месяц сто, платите сто. Хотите пятьдесят – пятьдесят. Главное, селитесь и размножайтесь, а остальное придет само собой, только купчая крепость на ваш счет. Сообщение с Парижем тоже идеальное: пока только автобус несколько раз в день. Но через два года пройдет трамвай с севера... Через четыре года электрическая дорога с юга. Лет через десять, Бог даст, метро протянут. А через двадцать... Ого-го, через двадцать!

– Через двадцать – метр будет стоить тысячу франков, а? – волнуясь, поднялся я.

– Тысячу не тысячу, а за восемьсот пятьдесят смело ручаюсь. И дороги какие! Антик. Идешь, и будто по стеклышку. Брюки без пятнышка. Ноги чистые, чистые. Как натер сапоги утром, так и выглядят вечером... А лес... О, лес!.. Ветви шумят, почки бухнут, солнышко греет. И птички – на ветках. На одну взглянешь – одна птичка. На другую взглянешь – другая. И порхают, порхают. А поля по соседству, как в России, – ржаные. В прошлом году в первый раз видел... Иду возле поля, а рожь гудит, волны ходят. Будто кто-то нажимает на золотистые клавиши, пробегает по колосьям в ленивом арпеджио... А водопровод в мае окончат, увидите. И главное – что? Земля сразу после задатка – полная собственность! Вот сколько воскресений я езжу... Приеду, взойду на участок, оглянусь и говорю сам себе: Сережа, любуйся! Все эти двести квадратных метров от забора до будущей улицы – твои. Куда ни кинешь ты взгляд свой во все стороны – на семь метров в ширину, на тридцать в длину – все это твое, только твое... И эта травка твоя, и эта кочка твоя, и червячок, который ползет, твой, и камешек... Все пласты под тобой до самого центра земли вполне твои: и твердая кора, и расплавленная лава под ней, на протяжении шести тысяч верст. Жаль, конечно, что к центру земли участок все суживается, в виде пирамиды, но что делать. Зато вверх, в небо, расширяется он во все стороны до бесконечности. И когда какая-нибудь звезда проходит через зенит, она тоже моя. И звездное скопление мое. И Млечный путь.

– Сергей Иванович!.. – стараюсь казаться спокойным, с дрожью в голосе говорю я. – Вы мне устроите что-нибудь по соседству с вами? А? Участок?

– Сколько угодно.

– Я хочу тоже двести метров... Нет, не двести, четыреста... Вы говорите, автобус? В таком случае, пятьсот... Через двадцать лет по восемьсот пятьдесят четыреста тысяч с лишним... Обеспечение на старость... Я, знаете, как думаю сделать? Купить и постепенно переселиться вглубь Франции... Здесь цена возрастет, я продам, отодвинусь от Парижа немного, куплю новый дешевый. Этот тоже возрастет, я опять продам, опять отодвинусь и куплю... Ведь на такое передвижение вглубь страны можно безбедно прожить!

Через полчаса оповещенные мною русские жильцы нашего дома были не на шутку взволнованы. Быстро явились ко мне, загудели.

Я беру 150, господа!

Я только для спекуляции!

А я жить буду, жить. Репу обязательно посажу.

Решено было в ближайшее же воскресенье идти смотреть новый поселок. А поздно вечером, когда все уснули, я сел за стол, взял карандаш, бумагу и нервно начал чертить план.

В двенадцать часов ночи мне казалось, что пятисот метров вполне достаточно. В час ночи, пришлось, однако, прикупить еще сто под картофель. В половине третьего добавочно двести для снабжения поселка капустой. В четверть пятого у меня уже стоял недурной двухэтажный каменный дом, сзади скотный двор, огород в две тысячи метров, впереди фруктовый сад, сбоку настоящее поле...

Солнце взошло, когда я уходил спать, держа в руке план огромной показательной фермы...

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 4 апреля 1928, № 1037, с. 2.*

## II.

В воскресенье мы огромной компанией отправились осматривать земельные участки.

Шли живописной дорогой через Кламарский лес, и сами представляли тоже живописную картину. Впереди гордо выступал нынешний счастливый землевладелец Сергей Иванович. За ним, не отставая, будущий, не менее счастливый землевладелец я сам. А за нами уже следовали все остальные: сомневающиеся, колеблющееся, безразличные, вместе с женами, с детьми, с велосипедами и с колясочками.

Не хватало только Г. В. Глинки, который мог бы, как начальник Переселенческого управления, официально возглавлять наше движение.

Сначала двигались весело, дружно, оглушая лес громким смехом и кликами, пугая недавно прибывших с далекого юга птиц.

Но по мере того, как мы углублялись вглубь страны, миновав лес и оставив сзади себя фермы, поля, огороды, деревни, – клики перешли в сдержанную заглушенную речь, раскати-стый смех сменился беззвучными кривыми улыбками.

Тамара Львовна, например, первые два километра, не переставая, шутила. Вторые два километра, бросив шутки, говорила серьезно о красотах природы. Третьи два километра сосредоточено дебатировала вопрос: стоит ли жить. И на восьмом километре, не выдержав, наконец, мрачно спросила соседа:

– А как, по-вашему, безопаснее кончать жизнь самоубийством: стреляться или топиться?

Нечего говорить, что дети тоже устали. Тата и Верочка перестали собирать цветочки, со слезами на глазах заявив, что назад вернуться не иначе, как в поезде. А Леня подошел к отцу и таинственно проговорил:

– Папа, скажи правду, почему я устал? Может быть, я не мальчик, а девочка?

Неизвестно, чем бы все это кончилось на десятом километре прогулки, если бы Сергей Иванович не приободрил, вдруг, нас. Выйдя на поворот, он неожиданно поднялся на цыпочки, свернул в трубку ладонь, приставил руку к глазам и радостно крикнул, обернувшись к отставшим:

– Земля, земля!

Поселок оказался, действительно, недурным. Местоположение прекрасное, с одной стороны лес, с другой – авиационное поле. Аккуратно вымощенные улицы проведены во все стороны. Участки огорожены частоколом, пограничные колья предусмотрительно выкрашены красной краской, чтобы покупатель видел, что приобретает...

– Вот этот мой! – гордо показал Сергей Иванович на узкую полосу, кончавшуюся огромной грудой жестянок. – Это мой, а это моего друга. И это тоже...

А! – весело крикнул он, увидев невдалеке среди пустыря сидевшую на корточках человеческую фигуру. – Николай Андреевич, вы здесь? Пришли?

Фигура поднялась, поправила пенсне.

– Да, пришел, – грустно произнесла она. – Скажите, кстати, никто из вашей компании не знает, как сажать бурачки?

– Бурачки? А мы сейчас все узнаем, погодите. Господа! Идемте сначала ко мне в гости, милости просим. Я кое-что покажу. Вот это – один угол, понимаете? А это – другой. Два остальных там возле леса, за жестянками. Раньше тут находился лагерь военнопленных, так, очевидно, консервов много, каналы, лопали... Но ничего. Или все вывезу, или пущу под удобрение... А этот колышек – дом. Видите? Будьте добры, господа, осмотрите, а затем пройдемте в сад... Вот, от камешка до камешка фруктовые деревья, а это у ямки – службы и гараж. Автомобиль хочу купить, продукты развезить по поселку. Иван Сазонтович, вы что? Думаете, попали вовнутрь здания? Нет, голубушка, дом не там, дом слева, а вы в огородик забрались... Ну,

а соседи у нас почти только русские. Один итальянец случайно затесался, вон видите, дом построил, белье его жены сушится... Но зато с той стороны опять наши казаки. Самый лучший участок купили, хибарки возвели, все время работают. Ге-ге-гей! Земляки! Как по плану все это за «рю дэ Боскэ» или живете? Бог в помощь! Они, господа, и улицы назвали по-нашему. У хозяина за «рю дела Пэ» считается, но они ту улицу Новочеркасской наименовали, а эту вот, Баталпашинской...

Компания наша разбрелась по всему пространству поселка. Дети и дамы отдыхали на камешках; Аркадий Альфредович недоверчиво ходил возле заборов, почему-то интересуясь, из какого дерева сделаны кольца; Иван Сазонтович неподвижно стоял на пригорке, скрестив на груди руки, погружившись в думы о бывших военнопленных, о значении минувшей Великой войны для человечества; Петр Григорьевич отправился в гости к казакам, где уже нашел знакомого сослуживца по заводу Рено.

А что происходило со мной, даже жутко сказать... Часа три я, с горящими глазами, точно преступный кулацкий элемент, метался из одной улицы в другую, с деревянным метром в руках, перебирался через заборы, взбирался на подъемы, скатывался в овраги, мерил землю в ширину, в длину, в высоту, ковырял почву палкой, втыкал у воображаемой границы будущих владений зонтик...

– По фасаду мало... Куренка некуда выпустить, – жалобно обращался я к Сергею Ивановичу, недоброжелательно шурясь на красные кольца. Еще бы двести. Или пятьсот... А, между прочим... Где, вы говорили, прокладываются рельсы трамвая? Ближе отсюда?

– Да, вот. Перед нами.

– А разве это трамвай? Это вагонетка, Сергей Иванович!

– Вагонетка? А в самом деле... Вагонетка. Вот курьез! Но все равно, дорогой мой, не беспокойтесь. Через два года все будет... Вот, Ольга Ивановна тоже заявляет претензию, что итальянское белье портит вид... Но когда все застроится и все поселятся, разве можно будет узнать, чье белье где висит? И вообще, разве можно так ко всему придирается?...

Ночью в тот день я тщетно старался уснуть, отогнать впечатления... Перед глазами неотвязно мелькали кольца, камни, кочки, жестянки... В мыслях путались цифры... И, вдруг, точно ударила неожиданная мысль: а что делать, если большевики будут свергнуты, и можно будет вернуться? Остаться? Сидеть? Все поедут... Веселые... Радостные... Сядут в поезд... Начнут платками махать... А я? Жестянки, кочки, палки... Разъедутся знакомые... Переберется газета. В Петербурге окажутся все... Будут жить на Бассейной, на Знаменской, на Каменноостровском. А я? Рю дэ Боскэ? Рю де ля Пэ? За что? Чем я хуже? Или, может быть желать теперь, чтобы большевики дольше держались? Чтобы укреплялась техническая мощь красной армии?

Вскочив с постели, я дрожащей рукой зажег электричество, подбежал к столу. И, взяв карандаш, чтобы не забыть, быстро начертил в записной книжке: «Участка не покупать. Дудки».

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 7 апреля 1928, № 1040, с. 2.*

## Самовар

Чем был раньше для нас самовар? Простой, заурядной, обыденной вещью, на которую ни мы сами, ни наши гости никогда не обращали внимания.

подавала его у нас Феня без всякой торжественности. Уносила тоже без особенной помпы. И никому не приходило в голову при виде его впасть в экстаз, любовно похлопать по блестящим бокам, благоговейно спросить:

– Где раздобыли? За сколько?

А между тем, помню... тот, петербургский, был настоящим красавцем. Высокий, стройный, сверкающий свежестью никеля, с хорошо поставленным голосом, чудесно выводившей заунывные восточные песни и в долгие зимние вечера, и в короткие белые ночи.

Конечно, он остался там. Кто теперь пьет из него – безразлично. Желаю этой каналье подавиться и обжечь свое горло. Но сейчас у меня есть другой самоварчик, небольшой, скромный, медный, с обломанным краном, с чуть помятым корпусом и, благодаря легкой течи, напоминающий беспомощного грудного младенца.

Приобрел я его в Белграде по случаю на толчке, на Александровской улице. Пришел покупать костюм, так как нужно было представляться на следующий день югославянскому министру народного просвещения. И, вдруг увидел...

– Что это такое, братушка? – стараясь сохранить хладнокровие, небрежно спросил я.

– Бога-ми, не знам, – чистосердечно сознался серб. – Машина для стирки белья, должно быть. Или аккумулятор... Русский солдат продал.

Заплатил я за аккумулятор этот 130 динар, забыл о костюме, о министре народного просвещения, схватил самовар за желанные черные ручки и бегом направился домой.

Старался идти не оглядываясь. Сейчас же повернул за угол. Неровен час – вдруг догадается хитрый старьевщик...

Ставил я свой самовар в Сербии не часто, но раз в неделю обязательно. Двор у нас был демократический, суетливый – у одних дверей стирали, у других раздували утюг, у третьих выбивали тюфяки... В общей сутолоке дым и огонь из трубы не привлекали внимания. Только хозяйская собачонка почему-то бешено накидывалась, злобно лаяла, пока кипяток не начинал брызгать ей в морду.

Привез я этот самовар и сюда, во Францию, не желая расставаться с любимцем. Долго спорил с таможенным чиновником, что вещь эта не составит конкуренции французской промышленности, усиленно тыкал пальцем на сломанный кран, наливал даже внутрь воды, чтобы продемонстрировать течь.

И, вот, два года, до последнего воскресенья не решался поставить, боясь навлечь на себя какой-нибудь новый налог или административное взыскание за неосторожное обращение с огнем.

Мешала, кроме того, излишняя застенчивость. Поставишь в саду, а дым Бог знает, куда отнесет. Хорошо, если в сторону Риффенов – соседи добрые. В сторону Сиренов – ничего тоже. А, вдруг, через забор да к Трюффо? Знаю я этих Трюффо. Не надо лучше.

Воскресная компания гостей подбила меня, однако, взяться за дело. Стоит самовар у меня на буфетном столике, всегда блестящий, всегда яркий, торжественный. Чищу я его обыкновенно в дни, когда в Европе наступаете затишье, и писать не о чем.

Заполнили мы его водой, прополоскали, чтобы внутри не осталось ни одной паутинки, наполнили снова и потащили во двор. Наступал уже вечер. Солнце садилось, небо хмурилось. Однако было достаточно светло.

– Жаль сапога нет, голенищем хорошо раздувать, – со вздохом сказал один из гостей.

– Да и еловых шишек достать не мешало бы, – мечтательно добавил другой.

Еловых шишек, конечно, не оказалось. Голенища тоже. Принес я вместо шишек «аллюм-фе»<sup>108</sup>, вместо голенища консервную банку без дна; долго разжигал палочки, бросал их внутрь, вытаскивал, опять зажигал. И, наконец, добился.

Густой черный дым повалил клубами. Повернул сначала к Риффенам. Затем к Сиренам. Потом описал в небе спираль и бросился к открытым окнам Трюффо.

– Аллю! – крикнул оттуда чей-то недовольный голос. – Кеске сэ? Кель шамо а фэ са?<sup>109</sup>

– Как шикарно пошло! – весело заговорил, между тем, мой гость, предлагавший раздувать самовар голенищем. – Давайте-ка, господа, угольков. И еще растопок. Я думаю, если так дело пойдет, через восемь минут горячий чай обеспечен.

К этому времени вокруг самовара собралась толпа человек в двадцать, не считая тех, которые высовывались из окон соседних домов и тех, которые просто выглядывали из-за заборов. Явились *in corpore*<sup>110</sup> все русские жильцы дома: из нижнего этажа, из среднего, из верхнего. Калитка возле ворот поминутно скрипела: пришел сначала Юрий Петрович с супругой, затем Александра Дмитриевна с братом, потом Андрей Рафаилович, Софья Александровна...

Дым продолжал густо застилать небо, и без того покрытое тучами, Трюффо с проклятиями и со звоном захлопнули окно. Над нами, высоко в воздухе, трещал аэроплан, возвращавшейся с учебного полета на аэродром, заметившей внизу что-то неладное и начавший описывать над самоваром зловещие круги.

– Мсье-дам! Что случилось? – запыхавшись, бледная, встревоженная, подошла к нам жена управляющего мадам Герен. Почему костер развели?

– Это не костер, мадам, смущенно стал объяснять я. С-э нотр самовар рюсс...<sup>111</sup> Л-аппарей националь<sup>112</sup>.

– С-э-т-а дир, л-аппарей пур л-ам слав<sup>113</sup>, – галантно добавил гость без голенища.

– А вы что будете делать? Прыгать через огонь?

– О, нон мадам. Сэ пур буар<sup>114</sup>.

Как я заметил, из всей нашей толпы более всего напуганными оказались: мадам Герен, никогда не видевшая самовара, и семилетняя дочь моего русского соседа – Таточка, тоже самовара не видевшая. Мадам Герен, конечно, постепенно пришла в себя, поняв в чем дело. Стала с любопытством пробовать кран, заглядывать внутрь дымившейся трубы. Высказала попутно несколько соображений о том, что самовары можно ставить только там, где народонаселение чересчур редкое, и где много лишнего чистого воздуха. Затем вспомнила про пожар Москвы, выдвинула не лишнюю основания гипотезу, что именно от самовара Москва сгорела в 1812 году.

А Таточка все время вела себя панически и никак не могла успокоиться. С самого же начала, когда я зажег первую спичку, со страхом бросилась в сторону, восклицая:

– Сейчас стрелять будет!

А затем долго бегала вокруг, стараясь держаться от самовара подальше, и только тревожно кричала:

– Папочка, скажи: а зачем это надо?

Пасхальный вечер, когда мы пили чай из самовара, был одним из самых приятных вечеров этого года для всех нас, и для меня, и для моих гостей.

<sup>108</sup> Allume-feu – растопка (*фр.*).

<sup>109</sup> Qu'est que c'est? Quel chameau a fai ça? – Что это? Что делает этот верблюд? (*фр.*).

<sup>110</sup> Здесь: в полном объеме (*лат.*).

<sup>111</sup> Ce notre samovar russe – это наш русский самовар (*фр.*).

<sup>112</sup> Appareillé national – национальный аппарат (*фр.*).

<sup>113</sup> C'est à dire, l'appareille pour l'âme slave – то есть аппарат для славянской души (*фр.*).

<sup>114</sup> O non madame, se pour boire – о нет, мадам, это для питья (*фр.*).

Правда, самовар был готов не через восемь минут, а только через полтора часа. У французов такие странные угли: хотя и называются древесными, но похожи на камень. Самовар уже кипит, образует огромную лужу, а они, эти угли, только что начинают входить во вкус раскаляться, распространять невыносимый угар. Кроме того, пока мы несколько раз доливали самовар из чайника, в ожидании окончания угара, пошел недюжинный дождь.

Угли шипели в борьбе с каплями, затухали, снова вспыхивали... Сами мы изрядно промокли. Я, по примеру угля, тоже шипел.

Но зато как самовар пел в столовой! Как гудел! Какой у него особенный вкус воды! Что такое в сравнении с ним бездарный кипяток, булькающий над газом в металлическом чайнике?

Эх, помните ли вы, господа, что такое самовар? Ведь вы уже не помните, господа, что это такое!

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 25 апреля 1928, № 1057, с. 3.*

## Влюбленный Париж

Нехорошо жить за городом.

То есть жить-то хорошо, но ездить ужасно.

Зимой или осенью еще ничего. Лоно у природы сырое и грязное, воздух тоже неважный, благорастворяется плохо<sup>115</sup>. Никому, слава Богу, не приходит в голову отправиться в лес, сесть в холодную лужу, и, укрываясь от дождя зонтиком, страстно твердить:

– Сюзанна, люблю тебя.

Но весной или летом... Когда солнце пригреет, да когда лоно подсохнет... Беда!

Обычно еду я в версальском поезде. Сажусь в купе возле окошечка, раскрываю газету и, пока добираюсь до места своего назначения, успеваю прочесть все:

И в какую фазу вступило дело об убийстве на пляже.

И какой ювелир обворован.

И что рассказала о своем дедушке молодая индусская девушка, оказавшаяся в прежней жизни матерью своей собственной бабушки.

В общем, едешь каких-нибудь пятнадцать, семнадцать минут, а слезаешь уже и более развитым, и более развитым, и более сведущим, чем в тот момент, когда сел.

Но вот, теперь, летом, заберешься в купе, развернешь лист, прочтешь только один заголовок – и со всех сторон надоедают:

– Чмок, чмок, чмок...

Я вполне понимаю чувства парижской молодежи. Солнце пригрело, лоно подсохло. В лесу пташки, букашки, таракашки...

Из-за любви на какие расходы не пойдешь, чтобы взять два билета третьего класса!..

Но все-таки... При чем во всех этих историях я? Что я им: шафер? Сваха? Или посаженный отец, насильственно посаженный в одно купе с ними?

«Из Афин сообщают – с досадой начинаю вникать я в газету – что Кондуриотис вместе с Заимисом имели продолжительную беседу с Венизелосом...»

– Чмок, чмок!..

«Кондуриотис по этому поводу запросил мнение Кафандариса, а Кафандарис...»

– Чмок, чмок!..

Осторожно поворачиваю голову. Начинаю разглядывать. Молодой человек, мрачного вида, свалился на бок, положил голову на колени востроносой подружке. А она заботливо вытирает платочком его мокрые щеки, нежно целует...

– Морис, хлеб теперь 2 франка 25... – шепчет она.

– Да, Жозефина.

– А ты меня не разлюбишь, когда будет два пятьдесят?

– Никогда!

«А Кафандарис вместе с Папанастиасиу – возвращаясь к газете, глубоко вздыхаю я, – пригласили на совещание Папандопуло...».

– Поль, ты ел сегодня эскарго<sup>116</sup>...

– Да, ел. Откуда ты знаешь?

– От губ луком пахнет...

Оказывается, это уже другая пара. На соседней скамейке. Расположились против меня, крепко обнялись, прижались щеками. Из-за раскрытой газеты я не успел раньше заметить, что они тоже безумно любят друг друга.

---

<sup>115</sup> Аллюзия на богослужебную формулу из Великой ектении о «благорастворении воздушных».

<sup>116</sup> Блюдо из улиток.

«В связи с этим, сообщают, что, если Заимису не удастся сговориться с Кондуриотисом, а Кондуриотису с Кафандарисом...»

– А сегодня, что у вас дома на обед, мой любимый?

– Эскалоп, моя маленькая.

«... то Венизелос откажется от составления кабинета, несмотря на уговоры Папанастасиу, Папандопуло и Метаксаса...»

– Пардон!

Правый влюбленный толкает меня башмаком, грузно приподнимается, громко чмокает возлюбленную.

– Любишь?

– Люблю.

– Пананастайу – повторяю про себя я. – Посажённый отец... Папандодуло...

– На Жанет не променяешь?

– Я не родился дураком.

– Метаксас, Заимис, Кондуриотис... Эскарго. Этакую дрянь есть, прости Господи! И как нежно ответил: «эскалоп». Болван! Куда только уйти? Кондуриотис!.. Разве уйдешь на ходу поезда? И разве у нас было что-нибудь подобное?... Из Афин сообщают... Конечно, мы тоже влюблялись. Мы ездили в лес. Но мы умели ждать! Умели терпеть. Сидим тихо, смиренно – никто даже не догадается, в лес исправляемся или на лекцию. Говорили о Некрасове, о несжатой полоске. А эта сразу о печеном хлебе и бац в губы! Конечно, любовь зла, полюбишь и козла. Удивительно только, как можно целовать подобного головотяпа? Мир, очевидно, так устроен, что каждый головотяп всегда найдет свою головотяпку. Только все-таки жаль ее... Лицо очень милое, глаза тоже... Встретила бы она меня лет, этак, двадцать пять тому назад, я бы ей показал, как нужно подходить к любви, с каким надрывом! Я бы отучил от эскарго. Я бы сказал: «Жоржетт! Мы оба несчастны. Я меланхолик, ты – сангвиник, давай покончим с собой, Жоржетт, пока еще не поздно. Пока мы молоды оба». А этот луку наелся, тяжело отдувается. Героем себя чувствует...

– Чмок!..

– А идеалы-то его где? Ха-ха! Где идеалы?

– Чмок, чмок!

– Устремления? Падения в бездну? Парения в высотах? Заимис? Разочарования? Искания? Переживания?

– Чмок, чмок, чмок, чмок! П... П... П... П!..

Поезд замедляет ход. Не ожидая полной остановки, я соскакиваю, судорожно сжимая газету... Хочу от всего сердца, с размаху захлопнуть дверцу...

И вижу – к купе скромно подходит кюре.

– Перметте-муа, мсье?...

– Авек гран плэзир...

Кюре деликатно лезет туда, в логово. Испуганно раскрывает молитвенник, углубляется. А я улыбаюсь, видя его растерянное лицо, и злобы уже как ни бывало.

– Посмотрим, посмотрим, как дойдешь со своим чтением!.. Не так ли, как я со своими Афинами? С Кондуриотисом, Заимисом и Кафандарисом.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 6 июня 1928, № 1100, с. 2<sup>117</sup>.*

---

<sup>117</sup> Также напечатано в сборнике «Незванные варяги» (Париж: Возрождение, 1929), с. 73–76.

## Урок географии (Из цикла «Будущее»)

Медленной походкой, осторожно передвигая ноги, весь сторбившись, Антон вошел в класс. Уже тридцать пять лет преподает он географию в средне-учебных заведениях. Был раньше, до большевиков, учителем гимназии; затем, при большевиках, преподавателем школы второй ступени. Оставлен учителем восстановленной гимназии и теперь, после свержения большевиков и после возвращения эмигрантов в Россию...

Коммунистом Антон Сергеевич никогда не был. Политикой вообще не занимался; но против эмигрантов у него сохранилось, все-таки, какое-то затаенное чувство. Когда он остался здесь и питался картофельной шелухой, они, эмигранты, ели там, за границей, не только самый картофель, но даже белый хлеб, круассаны и сэндвичи. Когда он раз в неделю, ходил по обязанности, на митинги, манифестации и должен был кричать «Долой Англию» или «Смерть капиталистам», они спокойно работали там, за границей, ничего не кричали и никуда не ходили, кроме товарищеских обедов или добровольных докладов...

Это недружелюбное чувство, впрочем, испытывал среди педагогов не только Антон Сергеевич. Никанор Львович тоже. Иван Петрович тоже. Борис Федорович. Даже сам директор – Евгений Николаевич, которому в 20-м году жаль было расставаться со своей обстановкой, и который из-за письменного стола красного дерева, променял белых на красных.

Войдя в класс, Антон Сергеевич, с усилием взобрался на кафедру, раскрыл журнал, и, откашлявшись, произнес обычным монотонным голосом.

– Господа! С помощью Маркса... то есть, виноват... С помощью Божьей, мы вступаем сегодня в новый учебный год. Кто здесь вновь поступившие?

– Я.

– И я.

– Я тоже.

– Эмигранты?

– Уй, мсье... Си, сеньор... Эввет, эффендым.

Антон Сергеевич пожевал губами. Жмурился. Независимый вид этих эмигрантских детей сразу подействовал ему на нервы. В особенности, не понравилось это самое «уй, мсье» и «эввет, эффендым».

– Приступая к детальному изучению географии нашего союза сове... то есть, к изучению нашей матушки России, – начал вступительную речь Антон Сергеевич, – я хотел бы предварительно проверить, все ли из вас хорошо помнят предшествующие курсы – о пяти частях света и о Европе... Петров Арсений, Никифоров Василий, Стороженко Дмитрий... К кафедре!

Они все, втроем, почтительно стояли возле доски, ожидая вопросов. А Антон Сергеевич долго молчал, что-то обдумывая, иногда ядовито вдруг улыбался, выискивая самые трудные пункты программы второго и третьего классов...

И, наконец, произнес:

– Петров Арсений! Скажите, на какой реке стоит город Париж?

– Город Париж стоит на Сене, мсье. И мосты через нее: пон Мирабо, де Гренелль, де Пасси, д-Иена, д-Альма, де-з-Энвалид, Ампрер Александр Труа, де ля Конкорд, де Сольферино, Руаяль...

– Стойте Петров!

– Сию минуту. Карусель, понт Неф, пон о Шанж, пон д-Арколь... И еще кое-какие.

– Скажите. Петров Арсений: чем славится город Париж?

– Смотря какой аррондисман взять, мсье. И смотря по тому, что вам нужно. Если говорить о промышленности, то промышленность, главным образом, находится на окраинах: Бийанкур, Леваллуа-Перре, Клиши, Исси-ле-Мулино. Что бы попасть в Бийанкур, например, вы берете метро до порт де Сен-Клу, затем пересаживаетесь на трамвай номер 1.

– Довольно. Петров Арсений. Так как мне неизвестно все то, о чем вы говорите, то это не география. Никифоров Василий! Что вы знаете о республике Венесуэле?

– О Венесуэле? Очень много, сеньор.

– То есть как много? Какой главный город Венесуэлы, Никифоров?

– Главный город Венесуэлы – Каракас, сеньор. Я сам эстуве ан<sup>118</sup> Каракас и ездил оттуда а отрэ парте<sup>119</sup>. Чтобы попасть в Каракас, обыкновенно, едут на Ла-Гвайру, сеньор. Порт, нужно сказать, скверный, с ужасной жарой. Когда стоишь на рейде, вокруг скалистые горы и внизу, вдоль извилистой полосы берега, – дома, портовые склады, магазины. С одной стороны, отели и морские купанья Макуто, а с другой – особняки, виллы и пальмовые рощи Майкетии. Здесь же есть и железная дорога. Коли у вас документы в порядке, и есть панелес де легитимасион<sup>120</sup>, вы садитесь в поезд, и через несколько часов, минуя перевал, попадаете в Каракас.

– Довольно, Никифоров. Стороженко! Можете ли вы мне указать какой-нибудь полуостров в Африке?

– Да, мсье.

– Во-первых, я не мсье, а Антон Сергеевич. А, во-вторых, в Африке полуостровов нет. Стороженко Дмитрий.

– Полуостровов нет? Ого! А Рас Гафун?

Какой Рас Гафун?

Садитесь, Стороженко. Вы не знаете Африки.

– Что? Не знаю? Нет, уж извините, Антон Сергеевич! Я сам на полуострове два года с дядей жил, а вы говорите – нет. В итальянском Сомалиланде – мыс Рас Гафун и полуостров. Разве вы не помните? Акул мы сколько времени вместе ловили, дядя, полковник Тухалов и прокурор Кашников...

– Довольно, Стороженко Дмитрий. Садитесь.

– Нет, простите. Раз вы говорите, что я не знаю Африки, то я расскажу... Пройдя французскую таможену, где чиновники спрашивают, нет ли у вас пороха, вы попадаете в центральную часть, где на площади находятся отели, банки и склады магазины Мохамеда Али. Гостиницы две: Де-з-Аркад и Континенталь. Континенталь дороже, но лучше. Но и Дэ-з-Аркад ничего. Поезда в Аддис-Абебу отходят отсюда два раза в неделю: по воскресеньям и по средам. Дорога не очень длинная – всего 800 километров, но поезда идут целых два дня, так как ночуют на станциях Дире, Дайа и Ауаш. Раньше, когда не было железной дороги, сообщение было караванами через Харар, но теперь на третий день вы уже приезжаете в столицу, где садитесь на лошадь и едете прямо в гостиницу. На лошадь садиться нужно обязательно, так как европейцу неприлично ходить по Аддис-Абебе пешком. Да, и дышать трудно: воздух от высоты редкий... А если по программе требуется указать, где в Абиссинии добывается золото, я расскажу со всеми подробностями. Жаль, неудобно стоя рассказывать... Из Аддис-Абебы ехать приходится караваном на Лалукли, через деревни Аддис-Алем, Ауаш, Амбо, Лисафар, Целье, Гембо-Гоббу, Дегга, Беррыабассена-Димба. Только вот что, Антон Сергеевич... Если хотите подробно – слезайте с кафедры и идите на мое место, а я сяду сюда, чтобы слышнее было и лучше... Разрешите?

---

<sup>118</sup> Estuve en – я был в (исп.).

<sup>119</sup> A otra parte – в другое место (исп.).

<sup>120</sup> Paneles de legitimación – удостоверение личности (исп.).

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 12 июня 1928, № 1106, с. 3.*

## Будущие городничии

Хотя у Николая Ивановича Синявина, назначенного после свержения большевиков градоначальником города Энска, прием в канцелярии начинается в одиннадцать, однако, Синявин все равно, по беженской привычке, приобретенной в Болгарии, встает рано: в половине седьмого.

Не доверяя ванной комнате своего дома и боясь, что во время умывания неожиданно перестанет идти вода, как это нередко происходило в Софии, он спускается вниз, во двор, моет под краном голову, обтирается и возвращается пить утренний чай.

Свободные часы от занятий особенно тоскливы и продолжительны: платье и башмаки вычищены, полы подметены, на носках нельзя для штопки найти ни одной приличной дыры. Чтобы убить время, Николай Иванович идет, обыкновенно, на кухню.

– Степан, а что сегодня на обед?

– Изволили заказать, ваше превосходительство, борщ, Пожарские котлеты, горошек, Гурьевскую кашу.

– Так-с. А ты, братец, умеешь Скобелевские котлеты готовить?

– Никак нет.

– А по-суворовски? С перчиком?

– Не могу знать, ваше превосходительство.

– Эх, братец, братец... Где же ты образование получил? Погоди. В воскресенье после обеда буду свободен, приходи ко мне в кабинет. Научу. Шестнадцати сортам котлет. Если бы ты знал, как я по-суворовски готовлю – пальчики оближешь! А Чернявские? А марешаль? Бисмарковские? Наполеоновские? Котлеты по-хорватски? Полтора года, братец, сам поваром был. Не шутка. Смотри же: после обеда в воскресенье!

Из своего дома Николай Иванович едет в канцелярию не в экипаже, а в вагоне трамвая. Не хочет обращать на себя внимания.

– Господин, ваш билет!

– Я же тебе, милый, показывал.

– А где упомянуть, у кого есть, а у кого нет.

– Изволь. Только ты, дорогой мой, напрасно говоришь: где упомянуть. Я, вот, в Загребе только один месяц кондуктором был, а все запоминал. Никогда ни к кому второй раз не лез. Тут, братец, особая мнемоника нужна: зрительная. Когда ты совершаешь рейс, обращай внимание, прежде всего, на костюм: зеленая дама взяла, темно-красная взяла, господин в белых брюках взял, а с розовым галстуком уклоняется. А если костюм обычный, запоминай по лицу. Бритый не брал, усатый вместе с бородатым – уже. На носы тоже хорошо взглядывать. Облегчает... В особенности, если бородавки или синие жилки.

В канцелярии у Николая Ивановича работа кипит. Это не то, что прежде: доклады – резолюции, резолюции – доклады. Николай Иванович во все входит, все хочет знать сам, любить со всеми говорить лично.

– Сапожник подал прошение? Позовите сапожника. Может быть, он и шить не умеет, а на полицию жалуется. Ну, здравствуй, голубчик. Садись. Давно ты сапожником?

– Да с измальства, ваше превосходительство.

– Как шьешь: на деревянных гвоздях или с шитой подошвой?

– На гвоздичках, вашество, на гвоздичках. Мой отец на гвоздичках, так и я тоже, по родительскому благословенно.

– Нехорошо, братец. Гвоздики плохо держат. Я сам на второй месяц работы в Константинополе от деревянных гвоздей отказался: стыдно перед публикой. Отстанет подошва и, кажется, будто не башмак, а морда оскаленная. Шитую никогда не пробовал?

– Никак нет.

– Это на тебе твоя работа? Покажи-ка. Подними ногу. Милый мой! Да как ты дратву ведешь? Это разве параллель? И каблук, смотри: тут у тебя выступает, а там срезано. Срамник, ранта даже сделать не можешь! Если хочешь, приходи после обеда в воскресенье, принеси инструменты. Я тебе покажу, как шитую подошву подводить.

До пяти часов Николай Иванович без перерыва работает. И, забрав из канцелярии наиболее важные бумаги для вечерних занятий, возвращается пешком домой.

– «Энский телеграф» на завтра! – кричит газетчик. – Свежие новости!

Николай Иванович останавливается.

– А что именно нового?

– Всякие новости, разные новости... Купите, господин!

– Ты мне скажи сразу, что самое главное в номере. Не знаешь? Эх ты, газетчик! Я бы тебя из экспедиции на второй день выгнал. Хороший газетчик, дорогой мой, должен знать боевое место. Должен понимать, в чем выигрыш информации. Дай-ка сюда... Вот, смотри: «Англия. Переговоры с индусами о воссоединении в одну Империю»... Старо. «Афины. Об установлении фашистского образа правления». Было уже. Ну-ка? «Франция. Парижская печать о возобновлении франко-русского союза». Вот! Отлично. Ты и кричи: «франко-русский союз! Франко-русский союз!» Беги, что есть мочи, и кричи. Я сам в Софии, братец, газеты продавал... Номера тебе дают сфальцованные?

– Я не знаю...

– Не знаешь фальцовки? Костяным ножичком никогда не работал? Ну, и газетчики! Срам. Погоди... В воскресенье, после обеда, заходи ко мне. В шесть часов. Я покажу. И софийский ножичек подарю, так и быть.

В воскресенье после обеда у Николая Ивановича собирается общество. Повар Степан, сапожник, газетчик, пильщик дров, вялую работу которого градоначальник видел из окна своей канцелярии, монтер, не умевший найти в первом полицейском участке места повреждения провода... Николай Иванович по очереди читает каждому лекцию, объясняет, тут же на инструментах и материале показывает, как следует работать. И поздно к ночи, когда нужно ложиться спать, с сожалением расстается с коллегами, которым горячо и долго жмет руки, просит не забывать, заходить почаще по воскресеньям поболтать о дратве, о пилах, об экспедиции, о беф-брезе<sup>121</sup>.

– Мусинька, – виновато говорит жене Николай Иванович, ложась спать. – Ты, кажется, недовольна?

– Я думаю. Тоже – учитель!

– Мусинька... Но... Градоначальник, ведь, действительно, должен быть для населения отцом и учителем! Только тогда ему не страшен никакой Гоголь!

*Из сборника «Незванные варяги», Париж, «Возрождение», 1929, с. 64–67.*

---

<sup>121</sup> Bœuf-braise – говяжья тушенка (фр.).

## Теория относительности

Странное это понятие – отдых. Для меня, например, лучшим отдыхом является вскапывание земли под огород. А для агронома сладчайший отдых – писание писем в редакцию.

Для рыболова отдых – чтение газет. Для газетчика – рыбная ловля. Для шофера отдых – бежать на репетицию любительского спектакля и весь вечер метаться по сцене, запоминая мизансцены; для актера, отдых – сесть в автомобиль, уехать подальше за город, куда глаза глядят.

И обязательно самому управлять машиной.

Даже фотографы и музыканты меняются ролями, когда отдыхают. Скрипач во время отдыха целый месяц неустанно носится с аппаратом, щелкает затвором, лихорадочно проявляет, печатает. Фотограф забрасывает аппарат, хватается за скрипку, и с утра до вечера играет упражнения Мазаса-Гржимали<sup>122</sup>.

Вообще объяснить, что такое отдых, в обществе с сильной дифференциацией труда – почти невозможно. Есть, конечно распространенное мнение, будто отдохнуть – переменить впечатления. Но теория эта далеко не исчерпывает всех граней вопроса. Казалось бы, у кого найдется такая смена впечатлений, как у безработного? Утром обивает порог бюро д-амбош... Днем ходит по адресам влиятельных лиц... Вечером предлагает свои услуги ресторанам в качестве плонжера<sup>123</sup>...

А, между тем, спросите его на основании упомянутой теории:

– Ну, что, голубчик: отдыхаете?

Можно вообразить, куда он пошлет вас в ответ на подобный вопрос.

Единственное правдоподобное объяснение отдыха, по моему мнению, можно почерпнуть только в теории относительности Эйнштейна. Теории очень распространенной в последнее время и в высшей степени полезной в тех случаях, когда никаких объяснений найти вообще невозможно.

Предположим, в точках А, В и С даны три дамы: Софья Александровна, Мария Николаевна и Софья Ивановна. Предположим, что Софья Александровна в своей точке А в качестве телефонистки с раннего утра до половины восьмого вечера непрерывно суется, звонит, соединяет, вызывает, отыскивает адреса, дает справки, продает благотворительные билеты. Глядя через открытую дверь на точку В и на точку С, где Мария Николаевна и Софья Ивановна печатают на машинках, София Александровна думает:

– Счастливые! Сидят спокойно, не нервничают, после окончания работы – свободны... А мне еще тащиться за город, готовить обед, чинить белье...

В это время Мария Николаевна, сидя в точке В, смотрит на Софию Ивановну, печатающую в точке С, и думает:

– Счастливая! Вернется домой, пообедает и может спокойно отдыхать, идти в Союз Галлиполийцев. А я? Дома сверхурочная работа, огромная рукопись. Обед приготовить надо, платье докончить надо... Письма написать надо...

Однако, сидя в точке С, Софья Ивановна в перерыве между печатанием, откидывается на спинку стула и начинает вспоминать про свою знакомую Наталью Ивановну, которая в точке Д ничего не печатает, сидит у себя дома и спокойно вяжет свитеры.

<sup>122</sup> Жак-Фереоль Мазас (1782–1849) – французский скрипач, композитор и педагог, автор книги «Школа для скрипки» (русс. изд. под ред. И. В. Гржимали, 1895).

<sup>123</sup> Plongeur – посудомойщик (фр.).

– Счастливая! Взобралась, должно быть, на диванчик, вяжет, не торопится, не нервничает, может встать, когда хочет, может прилечь, когда хочет. И никто не пристанет с новой работой, никто не подступит с ножом к горлу...

Нет нужды говорить детально о том, что происходит в это время в точках D, E, F, X, Y, Z.

В точке M, вполне обеспеченная Вера Анатольевна, весь день бегает по магазинам, заказывает платья, шляпы, примеряет, покупает. Вечером – в театре, ночью – в ресторане... Возвращается домой разбитая, усталая.

И из точки M ей кажется, будто, в точке O Нина Евгеньевна ничего не делает. А, между тем, Нина Евгеньевна в точке O разрывается на части, стараясь успеть в течение дня сделать массаж, маникюр, педикюр, съездить к знакомым, отдать визиты...

Ясно, что на всем протяжении от A до Z, среди живых людей нет ни одной точки, которую можно было бы принять за неподвижную и из которой можно было бы исходить. Переменишь впечатления во время отпуска – не отдохнешь. Прекратишь печатание на машинке и приведешь домашние дела в порядок – не отдохнешь. Пойдешь по магазинам покупать вещи, делать «рандю<sup>124</sup>» – не отдохнешь. Поедешь на курорт в третьем классе, имея в кармане триста франков – не отдохнешь.

С точки зрения теории относительности, самое лучшее, что можно предпринять беженцу – это взять на три недели отпуск и заболеть. Заболеть не так, чтобы было опасно для жизни; но все-таки так, чтобы можно было с полным нравственным правом лежать на постели и не двигаться.

Впечатлений никаких. Домашних забот никаких. Починок никаких. Магазинов никаких.

Кругом домашние мило хлопочут, кормят, поят, ухаживают, поправляют подушки, ходят на цыпочках...

А ты лежишь, блаженно смотришь в потолок, наслаждаешься жаром. И знаешь, что с точки зрения Эйнштейна позиция твоя наиболее выигрышна. Вращаешься вместе с кроватью вокруг земной оси, мчишься по орбите вокруг солнца, вместе с солнцем перемещаешься к созвездию Геркулеса...

И все.

Ни за вращение вокруг оси не платишь. Ни за движение по орбите. Ни за курорт Геркулеса. Несут тебя в экспрессе Млечного Пути совершенно бесплатно и, кроме аспирина и хинина, никаких ровно расходов...

Это ли не идеал беженского отдыха? Это ли не лучшее использование отпуска?

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 19 июня 1928, № 1113, с. 2.*

---

<sup>124</sup> Rendu от фр. rendre – возвращать (ненужные или неподходящие вещи).

## Новый соблазн

Вчера получил предложение от одной русской дамы: «Не хочу ли купить в рассрочку возле берегов Северной Америки маленький остров?»

– Мы уже давно ведем по этому делу переписку с Евгением Васильевичем, живущим в Нью-Йорке, – объясняет моя собеседница. – В каком именно месте океана расположены острова, к сожалению, не могу точно сказать. Кажется, недалеко от границы с Канадой. Но острова здесь очень уютные, лесистые, у каждого свой маленький пляжик. И, главное, рассрочка на много лет. Вы вносите небольшой задаток, а затем, по мере занятия рыбной ловлей, погашаете.

– Рыбной ловлей?... – задумчиво заинтересовываюсь я. – А много там рыбы, если не секрет?

– Какой же секрет? Масса! Евгений Васильевич пишет, что буквально кишит. Иногда кишмя, иногда не кишмя, – смотря по погоде. Но вообще, достаточно один только раз закинуть сети, чтобы прекрасно прокормиться неделю. Селедка, осетрина, лососина, треска, белуга, дельфины. Киты иногда попадают. Жирафы...

– Жирафы?

– Да. А что? Мясо невкусное?

– Нет, отчего же... А киты сетями ловятся? Или на удочку?

– Разумеется, сетями. Что за вопрос! Конечно, если взять китовое бэби, совсем еще крошечное, может быть, оно и пойдет на обыкновенную удочку. Но киты *très âgé*<sup>125</sup> – тем нужны прочные сети. Ни один взрослый кит никогда не согласится запутаться в тонких сетях.

– Да, у каждой рыбы свое особое требование... – не желая вступать в спор с собеседницей, соглашаюсь я. – Хотя, знаете, удочка удочке рознь. Если дело, например, поставить рационально, и производить ловлю подъемными кранами, то киты едва ли будут иметь что-либо против... Установите лебедку на берегу, подвесьте на цепь крючок соответственных размеров, на крючок наживите осетрину или лососину... А остров вы уже купили? Или только в проекте?

– Пока не купили, но это вопрос одного-двух месяцев. Мы хотим сразу приобрести три островка, – я, Ляля и Муся. И обязательно рядом, чтобы ездить друг к другу в гости на лодке. Однако многие острова, к сожалению, уже раскуплены различными лицами. Нужно брать то, что осталось, вразброд. Два, например, есть рядом, а к третьему необходимо ехать мимо острова с негритянским поселком. В хорошую погоду пустыки, конечно. Но если застигнет, вдруг, буря... Да выбросит к неграм... Вы сами понимаете, что могут сделать черные с беззащитным белым созданием!

– Да, без суда Линча, пожалуй, жить будет трудно...

Собеседница передала мне еще кое-какие подробности об островах, которыми в последнее время увлекаются наши беженцы в Соединенных Штатах. И я слушал внимательно, слушал, и под конец стал даже завидовать...

– Ведь, вот повезло! Не только на землю люди сели, но на целый собственный остров! Не только никого знать не знают, но могут даже вывешивать свой собственный флаг, считать себя под протекторатом.

Наверно, уже многие отлично устроились, обзавелись хозяйством, живут... Какой-нибудь генерал образовал рыбо-консервный завод... Присяжный поверенный топит жир, поставляет в аптеки...

Сама-то дама, конечно, не поедет туда... Чувствую. Где ей совладать с огромной жирафой, когда та запутается в рыболовных сетях? Но почему бы мне не бросить Европы, не переселиться на остров?

---

<sup>125</sup> Très âgé – очень старые (*фр.*).

Солнце, пляж, лес. Океан, тишина, легкий бриз.

Умываться не надо. Бриться не надо. Воротнички надевать – тоже. Дни текут – солнце всходит, заходит...

Нет известий. Политики. Нет новостей, самообманов, иллюзий. Ветер шумит. Море гудит. Рыба плещется.

Где-то вдали прошел пароход. Ну его к черту.

И блаженно лежишь на песке и не знаешь: понедельник, вторник, суббота? Пятое, двенадцатое, Двадцать четвертое? Девятнадцатый век, двадцатый, двадцать первый?...

Робинзон, настоящий Робинзон!.. И один. Не только без Пятницы, даже без Блигкена<sup>126</sup>! Не очарование ли?

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 20 июня 1928, № 1114, с. 2.*

---

<sup>126</sup> Торговый дом «Блигкен и Робинсон» в Петербурге, поставщик Его Императорского Величества, специализировался на кондитерских изделиях.

## «Пол и характер»

Поистине, женщины осмелели за последнее время.

Давно ли эти нежные создания боялись мышей, дуновения свежего ветра, яркого солнца, крутых обрывов?

А теперь, подражая мужчинам, остригли волосы, побрили затылок, на ноги надели брюки-чулки, на голову котелок! И бьют рекорды почему ни попало.

Мужчина – на автомобиль, женщина – на автомобиль. Мужчина – в плавь, женщина – в плавь. Мужчина – в воздух, женщина – в воздух.

Раньше было между нами такое различие в поле и характере. А теперь – где у женщины пол? Один только характер!..

Помню я... В милое прежнее время. Маленький спуск, небольшой овраг, и все мужчины наперерыв предлагают свою руку, втайне рассчитывая также на сердце:

– Разрешите помочь?

Или растет на скале цветочек. Даме понравился. Галантный рыцарь, пыхтя, лезет наверх, рискуя свалиться, разодрать новый костюм.

А дама в восторге. На глазах чуть ли не слезы:

– Как любит! Как предан! Какое глубокое чувство!

Теперь с новыми женщинами молодые мужчины, наверно, не могут даже сообразить, как себя вести.

Предложить руку при спуске или самому опереться?

Сорвать цветочек или томно попросить:

– Мадемуазель, а не доберетесь ли вы до этих самых колокольчиков?

Слава Богу, что наше дело уже конченное, что мы, старики, излазили в свое время скалы, обслужили дам в обрывах, в оврагах, защитили их от крыс, от собак, от коров... Но какой страх вызывает во мне одна только мысль, что мог бы я родиться на двадцать лет позже, и должен был бы теперь в среде современных женщин искать невесту.

Не жутко ли?

Поедешь, например, на какой-нибудь европейский курорт... Познакомишься с милой особой, увлечешься...

А она, оказывается, боксер. Чуть что не по ней – трах, трах, трах – в физиономию. Лежишь, как Демпсей<sup>127</sup>, весь в синяках, тяжело дышишь. И никак не можешь сообразить:

Слабый ты пол, или сильный?

Или красотка какая-нибудь приглянулась... Личико разрисованное, ноги точеные, руки резные, фигура лепная. Сидишь с нею на бережке Ламанша, смотришь в воду, начинаешь изда-лека наводить разговор на созвучие любящих сердец, затерянных в холодном житейском море.

А она предлагает:

– В таком случай, плывем!

– Куда?

– На ту сторону. В Англию!

И, оказывается, что рядом с тобой не кто иной, как чемпион плавания. Специалист по проливам: Гибралтару, Босфору, Па-де-Кале и Баб-Эль-Мандебу.

Женишься на такой – и одно только мученье. Сначала, после каждой семейной сцены, будет бросаться в воду, уплывать за горизонт. Зови ее, кличь, как золотую рыбку.

А потом потребует, чего доброго, что бы и ты тоже стал чемпионом. Начнет для обучения бросать с крутого берега в воду, вытаскивать, снова бросать.

---

<sup>127</sup> Джек Демпси (Dempsey; 1895–1983) – американский профессиональный боксер, чемпион мира в полутяжелом весе.

А разведешься с пловцом, кинешься в объятия другой, а она авиатор.

Перелетает через океаны почем зря, кроме воздуха, никаких стихий не признает.

Квартиру наймет обязательно на шестом этаже. Заставит тебя ходить по карнизу вокруг дома, чтобы голова не кружилась. Станешь упираться, выволочет в окно, нацепит на решетку, чтобы висел, смотрел с шестого этажа вниз...

И кем бы ни оказалась такая современная жена, все равно: придется быть у нее не только под башмаком, но и под пропеллером, и под боксом, и под футболом.

А разве есть что-нибудь страшнее жены футболистки? Когда рассердится и начнет дома подкидывать ногами сервизы, кастрюли, цветочные горшки и тяжелые кресла?

Куда придет, в конце концов, человечество с такими энергичными женщинами, какие народились в последнее время, – сказать не берусь.

Должно быть, к матриархату, к гинекократии, при которой женщина – все, а мужчина – ничто.

Но, безусловно, недалек тот печальный день, когда про барышень с восторгом будут говорить:

– О, она бравый солдат!

А про застенчивого провинциального юношу:

– Кисейный молодой человек.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 23 июня 1928, № 1117, с. 2.*

## Прежде и теперь

Давно это было, но все-таки помню. Моей кухне Оле исполнилось шестнадцать лет.

Собственно говоря, в те времена подросток официально превращался во взрослую барышню в семнадцать лет. Но родители Оли были люди свободомыслящие, шестидесятники; дядя отличался недюжинным вольнодумством, мечтал о конституции, о мелкой земской единице. Тетя любила говорить об эмансипации, о курсах, о том, что такое прогресс с точки зрения Н. К. Михайловского.

И в силу всего этого в семье царил такой неудержимый либерализм, что не в пример прочим отсталым семьям, Оле было объявлено:

Сегодня она становится совершенно взрослой самостоятельной барышней.

Тетя поцеловала ее утром, перекрестила, сказала:

– Теперь иди, Олечка, туда, куда влечет тебя свободный ум.

И подарила новое платье.

А дядя тоже поцеловал, поднес роман Чернышевского «Что делать» и прибавил:

– Прочти, дитя мое, и постарайся, где только возможно, сеять разумное, доброе, вечное.

Состоялось тогда, как сейчас помню, огромное торжество. Гости весь день приходили, уходили, ели, пили, танцевали. Нанесли Оле подарков столько, что в беженское время хватило бы на двадцать пять барышень, включая родителей.

И, вот, вспоминая свою беседу с кухней в тот незабываемый день.

– Оля! – с восторгом сказал я, растягивая рукой воротник гимназического мундирчика, который нещадно давил мне шею. – Как, должно быть, ты счастлива! Сколько конфет поднесли!

– Ну что конфеты! – пренебрежительно проговорила она. – Разве в конфетах счастье?

– Конечно, не в конфетах, Оля, но там, ведь, не только одни леденцы! Там есть шоколадные. Там есть и засахаренные. Николай Федорович принес большую коробку тянучек... Ты, если захочешь, можешь наесться так, что живот заболит, Оля!

– Какой глупый малыш! – весело рассмеялась кухня, обмахиваясь платочком и победоносно оглядываясь по сторонам. – Для детей, может быть, конфеты и имеют значение. Но когда человек взрослый и совершеннолетний...

– Хорошо, а цветы? – не унимался я, желая передать Оле свое восхищение праздником. – Разве мало цветов? Петр Сергеевич принес гвоздики. Мария Михайловна принесла розы. В дыном кабинете так воняет резедой, лилиями и другими цветами, что дышать невозможно.

– Я, конечно, люблю цветы, – снисходительно заметила Оля. – Но что, в конце концов, цветы и конфеты? Разве ты не видишь, чурбан, самого главного? Какое платье я получила в подарок?

– Это? А что?

– На целых четверть аршина длиннее, чем раньше! Совсем, как у взрослых.

\* \* \*

На днях был приглашен я на дачу к знакомым на семейный праздник.

Их дочери Оле исполнилось шестнадцать лет, и отныне она уже не Оля, а Ольга Константиновна.

Знакомые мои, хотя люди не очень консервативные, но и не чересчур либеральные. О мелкой земской единице забыли, о Чернышевском не вспоминают, что такое прогресс – сами постепенно узнают из личного ознакомления с беженской жизнью.

Утром, как оказывается, мама поцеловала Олю, поздравила, подарила новое платье, сказала:

– Носи осторожнее, пожалуйста!

А папа принес из кабинета новую книгу, любезно похлопал по обложке, проговорил:

– Вот тебе, Олечка, курс куроводства. Чтобы наши куры не дохли.

Торжество в общем вышло на славу. Целый день гости приходили, уходили, ели, пили, пели, танцевали. Было приятно видеть, как виновница торжества, сияя счастьем, носилась взад и вперед, делала пируэты, реверансы, угощала, занимала, хлопотала...

– Ну, что, Ольга Константиновна? – улучив время, когда «рожденница» подошла к моему месту, спросил я. – Вы довольны подарками?

– А что?

– Да посмотрите, конфет сколько! Есть не только леденцы. Есть засахаренные, шоколадные...

– Ну, вот! Что такое конфеты, когда человеку стукнуло шестнадцать?

– Не говорите, Ольга Константиновна. В шестнадцать лет конфеты тоже доставляют удовольствие, в особенности, если не самому покупать. А, кроме того, почему вы сказали: стукнуло? Это только в нашем возрасте стучает. Ну, а цветов тоже масса. Смотрите, сколько цветов! Я думаю, франков на сто, если не больше.

– Да, я люблю цветы... – снисходительно проговорила Ольга Константиновна, обмахиваясь платочком и победоносно оглядываясь по сторонам. – Они вообще... пахнут. Но вы, к сожалению, не заметили самого главного.

– А что?

– Моего платья. На видите? Не целых десять сантиметров короче, чем раньше! Совсем как у взрослых.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», 14 июля 1928, № 1138, с. 2.*

## Чужой лес

Сижу в Медонском лесу. Давно облюбывал я это чудесное местечко, среди берез и кленов. Сзади, по склону, живописно вьется тропинка, сдавленная цепкой ежевикой. Впереди – заросшая травой площадка с расходящимися в разные стороны дорожками. Зеленой стеной стоит вокруг скамьи молодая поросль, играя на солнце листвой. И какая-то птица в глубине леса поет, настойчиво заучивая первые пять нот из партии Зибеля<sup>128</sup>.

«Расскажите вы», – ясно слышится. А кому – не хочет сказать. Только я и так понимаю. Конечно, «ей». За это говорит все: и горячее солнце, и ясное небо, и такой милый ласкающий ветер...

Сижу, смотрю на березы и, как всегда, в душе – радость и грусть. Так много воспоминаний будят родные белые пятна, окруженные нежностью тонких ветвей. И так больно чувствуется, что все-таки это не то; что все это чужое вокруг – и земля, и дороги, и небо, и птицы...

Вот, вдали, из-за поворота показалась группа французов. Целая семья... Дама, двое детей. Девочку мать ведет за руку; мальчуган, вооруженный деревянной саблей, кидается из стороны в сторону, с безумием Дон-Кихота накидывается на стволы старых лип.

Счастливы! Они у себя. Дома. Это все – их. На лице у матери – установившаяся спокойная радость. У детей – уверенные движения будущих хозяев страны. Опьянены годами, родным солнцем, родным воздухом...

Дама останавливается на площадке, нерешительно смотрит назад.

– Ау! – сложив ладони у губ, громко восклицает она.

– Го-го-го! – отвечает откуда-то громовой раскатистый голос.

– Ау! Ау!

– Го-го-го!

Эхо ответило «го»... Птица с партией Зибеля смолкла. Воздух замер, погрузившись после резких сотрясений в истомную тишь. И, вот, вдали, на дорогу ввалилась грузная фигура со шляпой на затылке, с развалистым самодовольством в походке.

Счастливы! Как непринужденны! Что значит – дома. У себя. На своей собственной родине.

...Он подходит, запыхавшись, сияет мокрым лицом. В одной руке большой сверток в газетной бумаге, длинный хлеб. В другой – бутылка, в которой булькает молоко.

– Сядем на скамью, что ли? – спрашивает он громко по-русски, подозрительно взглянув на меня.

– Там уже кто-то сидит.

– А что ж такого. Пусть подвинется. Не его здесь скамейка. Володька! Пойди сюда! Ишь, поганец. Ломает кусты. Аня, садись. Ляля! Хочешь молочка? А? Володька, пойди сюда! Тебе говорю?

Они садятся. Аня, Володя, Ляля и он. Он ближе всех. Настолько близко, что каждый очередной поворот его могучей спины грозит смахнуть меня со скамьи.

– Мама, а у нашей соседки родился ребеночек! – говорит почему-то Ляля.

– Ну, и отлично. Пей молоко. Ты кого это встретил, Сережа? Топорчикова?

– Нет, не Топорчикова. Ты не знаешь. Полковник де-Гурнель. Удивительная штука, все-таки. В последний рай в Севастополе виделись, потом потеряли друг друга из вида. И теперь, на тебе, неожиданно в Медонском лесу повстречались.

– Де-Гурнель? Русский?

---

<sup>128</sup> Партия Зибеля, юного поклонника Маргариты, из оперы Ш. Гуно «Фауст».

– Русский, конечно. Симпатия. А судьба у человека, действительно, странная. Володька! Оставь хлеб в покое! Не подбрасывай! Предки были французскими эмигрантами, во время революции бежали в Россию. А теперь, вот, потомок принужден от революции обратно бежать. Беженцем в своей собственной родной стране оказался. Здорово? Володька! Что я тебе говорю?

– Мама, а почему у соседки родился ребеночек? – не унимается Ляля.

– Так надо, деточка. Пей.

– А почему надо? Консьержка говорит, что соседка купила ребенка на Марше о Пюс<sup>129</sup>, – хитро замечает Володька. – Только врет, дура. На Марше о Пюс продаются старые вещи, а ребенок совсем молодой... Наверно, просто в рассрочку купили.

Чтобы не мешать семейной идиллии, я встаю, вежливо приподнимаю шляпу и ухожу вверх, вдоль по тропинке.

– Слава Богу, ушел, – слышу облегченный вздох сзади. – И откуда такая масса французов в лесу? Не продохнешь.

Здесь, вдали от скамьи, на холме, среди огромных кустов, завитых плетью ежевики, тихо, спокойно. Бесшумно продвигаюсь по мягкой траве, опускаюсь под тишь молодого платана.

Никого, слава Богу. Хорошо. Зеленым небом с просветами голубых звезд раскинулось дерево. В траве муравьи... Божья коровка села на башмак, с удивлением смотрит: пень или гриб? Сзади, в зарослях, треск ветвей, шуршание листьев. Кузнечики, стрекозы, наверно. А, может быть, зайцы?...

Чудесно... Очаровательно. И как жаль, что чужое! Божья коровка – французская. Муравей – французский. Стрекоза – тоже. Зайцы, кузнечики... Ла фурми э ла сигаль<sup>130</sup>...

Что это в кустах? Русские голоса?

– Значит, ты не любишь. Я вижу.

– Нет, люблю.

– В таком случай, почему не хочешь сказать?

– Неловко...

– Неловко? Мне? И тебе, Маня, не стыдно?

– Ну, хорошо... Так и быть... Дело, видишь ли, в том... Моя мама... То есть, я... То есть, мы обе, как ты знаешь, живем в одной комнате... Пополам. И если я выйду за тебя, и перейду, ей придется одной платить 300 франков... Ты понимаешь, что при зарплате в 600 нельзя за комнату 300...

– Триста? Да. Это, конечно. Но, с другой стороны, неужели возможно, чтобы счастье расстраивалось? Нужно придумать что-нибудь, обязательно... Триста, шестьсот... А знаешь что? Не выдать ли твою маму за моего папу?

– Не говори глупостей, Витя.

– А что? Ей Богу, Елена Федоровна еще интересна. Папа у меня тоже... Крайний и бодрый. Мы их познакомим, поженим. И тогда – все отлично. Я с тобой, она с ним. Две комнаты, как были, так и останутся!

– Милый, как это было бы хорошо!

– Милая, даю тебе слово!..

Тишина. Смолкло все. Божья коровка расправила крылья. Не добившись истины – что такое башмак, улетела. Муравьи продолжали сновать.

Где-то птица снова запела «расскажите вы ей». И в кустах опять треск ветвей, опять шорох, шуршанье листьев.

---

<sup>129</sup> Marché aux ruces – блошинный рынок, барахолка (фр.).

<sup>130</sup> La fourmi et la cigale – муравей и цикада (фр.).

Стрекозы это? Белки? Зайцы? Неизвестно. Чуждый лес... Чуждая земля. Французские муравьи. Французские стрекозы... Ла сигаль и ла фурми...  
Грустно!

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 22 июля 1928, № 1146, с. 2<sup>131</sup>.*

---

<sup>131</sup> Также напечатано в сборнике «Незванные варяги» (Париж: Возрождение, 1929), с. 47–51.

## Les ukres

Кто не помнит этого любопытного обычая, практиковавшегося в период горячих сельских работ на малороссийских базарах? Лежит в тени под возом приехавший наниматься батрак, спит. А на подошве его сапога мелом написано:

«Меньше двух рублей не будить».

Украинские сепаратисты, находящиеся сейчас за границей, очевидно, разбужены. Кто-то предложил им два рубля 25 копеек и, вот, они встrepенулись, поднимаются. Гетманы берутся за булавы, кошевые за кошельки, хлопцы за люльки с капоралем<sup>132</sup>.

А те, кто умеют писать письма турецкому султану, взялись за издание книг.

И агитируют.

Вот передо мною одна из подобных брошюр, выпущенная на французском языке в июне этого года, принадлежащая перу какого-то загадочного L.– V. Francois. Озаглавлена брошюра: «L'Ukraine economique»<sup>133</sup>, издана фирмой «France-Orient» и содержит в себе все богатства Украины, включая сюда карту территории, префас<sup>134</sup>, перспектив-д-авенир<sup>135</sup> и печатки.

О том, какие прекрасные железные дороги, судя по этой книге, самостоятельно построили украинцы на Украине, мы входить в рассмотрение не будем.

О том, какая у украинцев образовалась независимая от москалей индустрия текстильная, добывающая, металлургическая, химическая и вообще, «эндюстри диверс»<sup>136</sup>, – тоже спорить и прекословить не будем.

Предположим, что всего этого Украина быстро добилась в гетманство Скоропадского и в гетманство Петлюры.

Но, вот, что самое жуткое в книге, и что никак нельзя обойти молчанием, как заковыку, это происхождение украинского народа в трактовании господина Франсуа.

«В восьмом, девятом и десятом веках, – пишет почтенный автор, – на украинской территории находились остатки славянского народа, называвшегося Украми (Les Ukres). Вероятно, отсюда и произошло слово „Украина“, земля Укров, подобно тому, как Франкония означает землю Франков».

Конечно, негодовать на мсье Франсуа за изобретение такого народа, как «Юкры», бесполезно.

Раз человек хочет щеголять знаниями, никто его остановить не может. Пусть щеголяет.

Ведь был же несколько веков назад знатный западноевропейский путешественник, который после осмотра Малороссии тоже писал:

«Multi populi incolunt Russiam, nominantur chlopzi»<sup>137</sup>.

Но, вот, кто обнаруживает полное широе свинячество – это те запорожцы, которые стоят за порогом кабинета мсье Франсуа и науськивают его на такие этнографические экскурсы.

Зная характеры этих укров – Острияниц<sup>138</sup>, Левицких<sup>139</sup>, Александров Шульгиных<sup>140</sup> и прочих, я уверен, что это они, разбуженные кем-то при двух рублях двадцати пяти копейках, подбили автора на подобное дело.

<sup>132</sup> Махорочный табак.

<sup>133</sup> «Экономика Украины» (фр.).

<sup>134</sup> Préface – предисловие (фр.).

<sup>135</sup> Perspective d'avenir – перспективы на будущее (фр.).

<sup>136</sup> Industrie diverse – разнообразная промышленность (фр.).

<sup>137</sup> В России проживает множество людей, называемых хлопцы (лат.); имя путешественника идентифицировать не удалось.

<sup>138</sup> Иван Васильевич Полтавец-Острияница (1890–1957) – офицер, украинский военный и политический деятель, адъютант гетмана Скоропадского, позднее – самопровозглашенный гетман Украины.

В своем увлечении двумя рублями двадцатью пятью копейками, современные юкры готовы на все, лишь бы выполнить задание хозяев: отмежеваться от москалей.

Нужен юкрский народ, пожалуйста.

Нужны юкрские письмена, извольте азбуку, сильвупле.

В случае необходимости ничего не стоит потомкам Юкров организовать и свой Глозель<sup>141</sup>: нанести горшков, черепков, старых завьяловских<sup>142</sup> ножей, куриных костей, шлифованных камней с выщарапанными изображениями оленя и мамонта.

И выпустить даже научное исследование:

«Доисторические юкрские боги: Ой лихо не Петрусь, Черный ус, Горилка, Свитка, Вечорница».

Подделки, подтасовки, вранье и брехня (которая в переводе на русский язык обозначается ложь), настолько вошли в обиход юкров, что в конце концов пересташь верить всему.

Вот хотя бы насчет автора книги. Может быть, он, действительно, чистокровный Франсуа. Но, может быть, бис його знае, просто на просто юкр.

Лев Васильевич Украенко, например.

Ведь, вам же известен теперь лингвистический принцип: Лэ Франсе – Франсуа. Ле з-юкр – Украенко.

А что юкры, в случае чего, если дадут два рубля пятьдесят, могут стать и французами, это легко видеть из самостийной юкрской литературы. Например, из трагедии Шиллеренко: «Орлеаньска Дива». Я помню хорошо, сам лично читал, как в этой трагедии, изданной в Киеве, Тибо д-Арк говорит:

«Сусидоньки, мы поки ще хранцузи!»

Так кто же гарантирует, что не может случиться обратное? что L.– V. Francois, – поки що не хранцуз, а чистокровный юкр, сусед Остряницы?

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 9 августа 1928, № 1164, с. 2.*

---

<sup>139</sup> Андрей Николаевич Левицкий (1879–1954) – украинский общественный и политический деятель, первый президент Украинской Народной Республики.

<sup>140</sup> Александр Яковлевич Шульгин (1889–1960) – украинский политический деятель, активный деятель правительства Украинской Народной Республики в эмиграции.

<sup>141</sup> «Глозельская письменность» – керамика, покрытая нерасшифрованными письменами, найденная в 1924 г. в местечке Глозель (Франция).

<sup>142</sup> Известная в дореволюционной России фабрика складных и перочинных ножей, основанная И. Г. Завьяловым.

## Куроводство

Награждение Н. А. Асса орденом Почетного Легиона за образцовое куроводство вызывает во всех нас, русских, приятное удовлетворение и даже гордость.

И здесь наша взяла!

Наверно, начал Н. А. Асс по-беженски: с одного только яичка, как Будда, и создал из него целый мир в три тысячи кур.

Не даром же в биологии существовал принцип *omne vivum ex ovo*<sup>143</sup>.

Это про наших куроводов сказано.

Гордясь фермой Н. А. Асса и проявляя в своих восторгах зоологический национализм, я, все-таки, не могу скрыть одного нехорошего чувства:

Черной зависти к тем, кто преуспевает на этом тяжелом поприще!

Ведь, я тоже недавно был куроводом. Тоже старался. А что получилось?

Не выносят ли куры одного моего вида, или просто не уживаемся мы с ними на одной планете, но почему-то все онидохнут.

Даже мистическое что-то в этом есть. Если я здоров и ухаживаю за ними, они заболевают. Если, наоборот, я не здоров и лежу в постели, они без меня вылезают во двор, поправляются.

А так как я болею сравнительно редко, то болеют преимущественно они. Болеют, чахнут, худеют и под конец уходят в лучший мир.

Н. А. Асс, быть может, скажет, что я просто не умею смотреть за птицей. Но в том то и дело, что начал я куроводство не один, а под руководством Евгении Дмитриевны. Евгения Дмитриевна из пятилетнего опыта отлично знает, когда кур сажать на яйца, когда поливать, когда унаваживать и как подрезать перья, чтобы все соки шли на несение яиц.

Купил я кур, конечно, в расчете на заработок. Знающие беженцы уверяют, что первые пять экземпляров всегда смело могут жить на те отбросы, которые остаются после обеда. Вторые пять экземпляров могут тоже смело жить, отбивая еду у первой пятерки. Третьи же пять требуют кое-каких расходов, но совершенно ничтожных. Немного зерна, немного хлеба, а остальное найдут сами: здесь червяк, там стрекоза, муравей, скорпион, тарантул, крот...

Для дачной жизни, в которой встречаются сороконожки, это совсем даже удобно. Съедят начисто.

А доход, как мне говорили, определенный: пять кур – по двадцать – сто франков. Петух – тридцать. Сто тридцать. А яйца в геометрической прогрессии. Через полгода окупают расходы, через год окупают доходы. А годиков через пять, через шесть, оглянуться не успеешь – уже ферма есть. Собственный домик в два этажа вырос. Землицы пять акров.

Как же не попробовать? Не рискнуть отбросами от обеда?

Сначала, до кур, были у меня кролики. Правда, всего два, но совершенно живые. Про них тоже мне говорили, что сии могут смело жить на то, что остается в хозяйстве. Но почему-то кролики смело жили только шесть месяцев. Но седьмой месяц смелость прошла, на восьмой на обоих напало уныние – слегли, а на девятый я подарил их соседу французу.

Возня страшная, а приплоду никакого. Оба оказались дамами и не желали размножаться ни почкованием, ни делением.

А в еде были капризны, как институтки. Борща, оставшегося после обеда, не ели; котлет, оставшихся после обеда, не ели. Даже от мороженого и то всегда морды воротили.

Кур я купил всего три экземпляра. Петуха – одного. Но все были рослые, крупные, очевидно, породистые. Одна курица, наверно, кохинхинка: без хвоста, в некоторых местах лысая, но зато в других густо-шерстистая. Петух, тоже породистый, должно быть, из Индии. Брама-

<sup>143</sup> Все живое – из яйца (*лат.*).

путровец, как я думаю: один глаз красный, другой желтый, а гребешок надорванный. В Калькутте, говорят, такие петухи не только смело живут, но первые призы берут даже.

Окружил я всех их, по совету Евгении Дмитриевны, заборчиком из сетки, чтобы в сад не лазили, выстроил маленький домик с насестами и начал присматривать.

Месяц прошел – не несется никто.

Второй месяц прошел – не несется никто.

– Господа, – стоя за решеткой начал укоризненно убеждать я. – Это же свинство! Это же вам не монастырь!

Затем, наконец, на третий месяц – слышу из окна – кохинхинка кудахчет. Как сейчас помню день: пасмурно было, дождичек шел, 16 марта по новому стилю, а по-старому – третье.

– Ура!

Созвал я всех домашних, пригласил Евгению Дмитриевну, окружили мы кохинхинку и ну сажать на яйцо. Тычем подальше, под самый корпус, чтоб какой-нибудь бок у яйца, упаси Боже, не простудить. А кохинхинка встает, отбивается.

– Придавите ее, – говорю, – чем-нибудь! Давайте доску! Тащите поскорей ящик!

Прикрыл я ее ящиком, сверху камень навалил, чтобы поднять нельзя было. И начал ждать. А остальные две курицы ходят вокруг, с удивлением поглядывают. Петух остановился сбоку, растопырил ноги, задрал голову, весь трясется:

– Ка-ка-ра-ра!

Не буду говорить, как извели меня, в конце концов, эти проклятые птицы. Расчесываю их частым гребнем, чтобы блох выловить, а они – скандал на весь сад. Привязываю на ночь веревкой к крыше, чтобы во сне с насеста кто-нибудь не свалился – засыпать не желают. Подрезаю перья, чтобы плодоношение увеличить – поднимают вой, гоготанье.

И в день кукурузы на пять франков.

Очевидно, у Н. А. Асса особая удача, что у него – 8.000 кур, и все приносят доход. Но я навсегда бросил это ужасное дело, когда кохинхинка скончалась под ящиком, и решил взяться за огород.

Знай, себе, ходи, поливай, а оно – растет. Без всякого шума, без крика, а главное – без психологии.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 11 августа 1928, № 1166, с. 2.*

## Эмигрантские праздники

Встретил на днях Пампушкина. Одного из видных общественных деятелей.

Жестикуляция – нервная. В лице – радость. Глаза горят.

– Что с вами, Петр Иванович?

– Да, вот, идея в голову, голубчик, пришла, идея. Грандиозный план разрабатываю.

– А что?

После краткого вступления, включавшего в себя историю революции, славную деятельность Временного правительства, ошибки Добровольческой армии и работу эмигрантских учреждений за восемь лет, Пампушкин объяснил, наконец, в чем дело.

– Через полтора года, дорогой мой, как вы знаете, исполнится ровно десять лет с начала первых эвакуаций... Вы понимаете сами, что такая дата не может остаться не отмеченной, так как десятилетия вообще не часто бывают. И, вот, я придумал: учредить по этому случаю комитет для подготовки юбилейного праздника во всеэмигрантском масштабе.

– Праздника? – испуганно переспросил я. – В годовщину эвакуаций?

– Да, именно – эвакуаций. То есть, если хотите, не праздника, а, так сказать, юбилейных торжеств. Мы должны показать, что сделали за десять лет мирового рассеяния: как устроились среди иностранцев, как организовали свою культурную жизнь, каких достижений добились в области литературы, искусства, науки, торговли, техники... Конечно, нужно к этим дням в местах скопления беженцев открыть русские выставки, устроить ряд концертов, балов, заседаний, лекций с волшебным фонарем, еще лучше с кино... И если организовать все это умело, и заинтересовать иностранцев, и добиться того, чтобы об этом в России тоже узнали, то получится такое впечатление, что, кто знает, может быть, большевики дрогнут под влиянием общественного мнения и начнут, наконец, эволюционировать в сторону демократизма на западно-европейских началах.

– Так, так... А, как вы думаете назвать торжественный юбилей, Петр Иванович?

– Как назвать? Как хотите... Можно так: «Праздник русского рассеяния». Или «Светлая годовщина бежавших». Или: «Праздник ожидания эволюции»... Мало ли удачных названий! А патроном торжества, конечно, возьмем, как и для дней русской культуры, Александра Сергеевича Пушкина. Всем известно, что Пушкин тоже подвергался со стороны самодержавия гонениям и даже бывал до некоторой степени беженцем, когда ссылался в Екатеринослав, в Бессарабию, на Кавказ...

Долго и подробно развивал передо мной свою идею Пампушкин. Объяснил, как технически сделать так чтобы все эмигранты в Австралии, Южной Америке и в Центральной Африке приобщились к светлой годовщине. Указал, что на организацию дела достаточно, если все два миллиона эмигрантов внесут только по пяти франков... И когда Пампушкин ушел, я долго обдумывал детали проекта, старался разгадать, какое отношение имеет Пушкин к эвакуации, почему годовщина должна быть именно праздником, а не днем печали и скорби, почему балы и концерты, – когда всем пришлось спешно бежать...

И, вдруг, меня осенила тоже идея:

А не устраивать ли нам каждый год, в определенный день, помимо утешительного Дня русской культуры, хотя и далеко не утешительный, но чрезвычайно полезный «День русской некультурности»?

Пусть «день культуры» будет говорить о нашем русском таланте, о нашей высоте, о нашей силе, о нашем национальном бессмертии.

Пусть у этого дня патроном останется Пушкин.

Но «День русской некультурности» будет служить предыдущему дню прекрасным коррективом. Будет говорить не о достижениях, а о поражениях, не о силе, а о дряблости, не о величии, а о мелочности...

И пусть патроном такого дня будет Пампушкин.

В эти торжественные дни русской некультурности, тоже смело можно устраивать доклады, лекции, концерты, балы.

И делать программы такими разнообразными, что никому не будет скучно.

В три часа дня, например, торжественное заседание в зале Сорбонны. Доклады и лекции:

Председатель И. И. Пампушкин: «Что такое праздники и как их выдумывать?»

И. И. Иванов: «Почему я ругаю каждую страну, в которой живу?»

А. Ф. Сиво-Меренский: «Самовлюбленность, как наилучшее качество для управления государством».

Профессор П. Н. Маниовеликов: «Черты моего характера, благодаря которым я ни с кем не блокируюсь, кроме своих учеников».

Общественный деятель П. П. Петров: «Искусство спорить до хрипоты и до поздней ночи, или эристика».

Журналист И. Испанейс: «Клевета в печати, как приближение к светлому будущему».

А вечером в Трокадеро концерт:

«Блоха! Ха-ха!», исполнит г. Сидоров.

«Эй, дубинушка, ухнем!...» дуэт, исполняют гг. Дубинин и Палкин.

«Стенька Разин», исп. г-жа Иванчикова.

«Светлый образ Иуды», рассказ, прочтет автор г. Пунцлов.

В заключение, хор цыган: «Мы не можем жить без шампанского» и проч.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 15 августа 1928, № 1170, с. 2.*

## Кухарка

Поистине, грустная история...

Написал мне мой приятель из Ниццы: «Дорогой, имя рек. Ради Бога, сделай одолжение. Жена моя рассчитала Марию Ивановну и теперь ищет новую кухарку, но обязательно неинтеллигентную. Ты представить себе не можешь, как намучились мы с этой Марьей Ивановной. Не говорю уже о том, что мне приходилось самому чистить башмаки и топить камины, а жене мыть посуду. Неловко было заставлять делать все это хрупкую интеллигентную женщину, да еще такую, у которой мы подолгу гостили в ее великолепном орловском имении. Однако в последнее время мы оба окончательно изнемогли. Когда Мария Ивановна по вечерам идет на концерт или в гости, мы оба спешно гладим ей платье, комбинезон, поднимаем петли на чулках. А на ночь я или жена, должны у ее постели читать вслух романы: глаза у Марьи Ивановны слабые, а засыпать без чтения она не привыкла. Родной мой, дай в газету объявление, что в Ниццу требуется совершенно неинтеллигентная кухарка. Может быть, хоть у вас в Париже найдется такая. У нас, увы, русских женщин с образованием ниже Бестужевских курсов нет».

Перечитал я письмо приятеля, вздохнул, и сдал объявление: «В инт. семью в Ницце спешно треб. кухарка, умеющ. гот., стир., глад., почин, б., чист. башм., мыть пос., и проч. Дор. оплач. Обязат. условие – полная неинтеллигентность».

Указал я в объявлении часы приема, адрес и с горьким чувством стал ждать. И без чужих поручений жизнь не сладка, а тут изволь возиться с таким щекотливым делом:

– Можно войтить?

– Пожалуйста.

В узкую дверь моей комнаты втиснулась полная женщина, повязанная цветным платочком, держа какой-то сверток в руке. Лицо женщины было ярко румяным, брови густо-черные, платье в пестрых разводах!.. Казалось, что настоящая жизнерадостная малявинская баба сошла с полотна, заполнила своей черноземностью серый пейзаж унылой французской квартиры.

Платье было только короткое. Да чулочки телесные, шелковые. Но что поделаешь? И до них, как известно, докатывается проклятая мода.

– Здрасьте!

Она в знак приветствия высоко подняла руку, опустила, сама низко склонилась, пригнув корпус к полу.

– Добрый день, гой еси добрый молодец! – протяжно, приятным грудным голосом, добавила она.

– Вы по объявлению, сударыня? – внимательно всматриваясь в неинтеллигентную бабу, подозрительно спросил я.

– Вестимо по объявлению, родимый. Вестимо. Люди добрые сказывали, што кухарка вам требуется, так, я, значит, тово... Могу и обед сготовить, и белье постирать, и все прочее такое. Антиллигентности во мне никакой, самы мы простые, рязанские. А муж мой тот казак, на заводе у Рена служит.

Она вздохнула, полезла рукой в черную сумочку, достала оттуда горсть подсолнечных семечек, громко начала щелкать.

– Так-с, хорошо... – осторожно обходя бабу и оглядывая ее со всех сторон, произнес я. – Значит, вы рязанская?... Люблю я, знаете, рязанскую губернию. Простор, ширь... Небось, самой приходилось и пахать, и сеять?

– А как же. Вестимо, родной, приходилось. Вестимо. Запряжешь, бывало, Сивку-Бурку, вещь Каурку, и пойдешь с ней белить железо о сырую землю. А вокруг благодать-то какая! Благодать! Красавица зорька в небе загорелась, из большого леса солнышко выходит.

– Графиня! – подойдя вплотную к посетительнице, – строго заговорил я. – Бросьте ваши штучки.

– Чаво?

– Графиня! Вы же читали, что требуется обязательно неинтеллигентная. Зачем вы пришли?

– Я? – удивленно посмотрела на меня женщина. – А чаво этово? Хде графиня?

Она побледнела, обернулась, осмотрелась вокруг.

– Нет, нет, вы не смотрите туда, – твердо продолжал я. – Слава Богу, у меня на лица хорошая память. Я отлично помню, как вы продавали мне шампанское на благотворительном вечере в зале Гужон.

Она посмотрела на меня, разочарованно бросила семечки в сумку.

– Да, верно, продавала, – грустно произнесла она, снимая с головы платок и доставая из свертка маленькую модную шляпку. – Как обидно! Только странные все-таки эти ваши ниццские буржуи. Разве не все равно им, кто я такая? Напрасно платок пришлось купить и потратиться на семена турнесоли...

Сухо кинув «бонжур, мсье», она круто повернулась, вышла. А через полчаса в дверь опять постучали.

– Можно?

На этот раз все было на чистоту. Явилась скромная барышня и стала уверять, что, хотя она и кончила гимназию, но все забыла: и чему равняется сумма углов в треугольнике, и что такое «пи», и куда впадает Амазонка, и кто написал «Недоросля». Долго и настойчиво убеждала она, что между интеллигентками и неинтеллигентными людьми разницы никакой нет, так как сейчас везде всеобщее избирательное право, и что теперь даже рабочие бывают министрами. Но я твердо стоял на своем. Приятелю нужен был не министр, а кухарка, и я не мог превысить своих полномочий.

Только через неделю, отказав чуть ли не двадцати просительницам, я остановил свой выбор на скромной симпатичной старушке, которую прислал ко мне один добрый знакомый. У старушки лицо было обветренное, морщинистое, на подбородке от старости росла седая щетинка, голос был хриплый, грубоватый, и когда старуха говорила, то к каждой фразе всегда прибавляла «тае».

Купил я кухарке билет, усадил в поезд, дал на дорогу аванс, чтобы окупить расходы до прибытия в Ниццу. И через две недели получаю от друга письмо:

«Дорогой, имя рек. Спешу сообщить тебе, что с кухаркой вышло недоразумение, кончившееся, однако, к общему благополучию обеих сторон. Как оказалось, твоя старушка вовсе не старушка, а генерал от инфантерии, очень милый, культурный и обязательный человек. Все свои обязанности в течение дня он исполняет с поразительной добросовестностью и аккуратностью, а по вечерам мы вместе с ним и с Евгением Николаевичем, садимся за стол и играем в бридж. Большое спасибо тебе, дорогой, за услугу. Если понадобится что-нибудь в Ницце, напиши. Тоже исполню в точности».

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 18 августа 1928, № 1173, с. 2<sup>144</sup>.*

---

<sup>144</sup> Также напечатано в сборнике «Незванные варяги» (Париж: Возрождение, 1929), с. 77–80.

## Митины афоризмы и сентенции

Когда я сделаюсь большим, обязательно стану генералом, как папа. Тогда мне дадут красное такси, же-сет<sup>145</sup>, и я буду шофером.

\* \* \*

Бедный Михаил Иванович! Никогда не пьет чаю, одно только кофе. А клиенты каждый день дают ему или двадцать или двадцать пять франков на чай. Что делать с этими деньгами?

\* \* \*

Папа говорит, что в детстве всегда мечтал быть извозчиком и что только теперь, в Париже, достиг своего.

Счастливец! Повезет ли мне, как ему?

\* \* \*

Петр Федорович хвастается, что в детстве, когда еще не было большевиков, три раза бегал из России в Америку без папы и без мамы.

Сумасшедший дурак!

\* \* \*

Говорят: ученье свет, а неученье – тьма. А штепсель, в таком случае, на что?

\* \* \*

Взрослые любят прибавлять к своей фамилии всякие лишние названия: присяжный поверенный, полковник, прокурор, княгиня, графиня. Может быть, для того, чтобы не спутать, кто чей муж и кто чья жена?

Не понимаю.

\* \* \*

Мама часто говорит папе, что он опускается и теряет культурный вид.

Это правда. Вчера собрались идти в синема и долго ждали Михаила Ивановича. Тогда папа говорит: «Ну, идем. Семеро одного не ждут». А я потихоньку сосчитал, и оказалось пять, а не семь.

Бедный! До десяти считать разучился.

---

<sup>145</sup> «G-7» – ведущая французская компания такси.

\* \* \*

Я очень люблю, когда к нам приходят гости. Только отчего они ничего не платят маме, что она после них моет посуду?

Дядя Ваня, когда был плонжером, всегда получал.

\* \* \*

Узнал, наконец, какая разница между княгиней и графиней. Княгиня это та, которая вышивает рубашки, а графиня та, которая рубашки продает.

А вот про присяжного поверенного не могу узнать, как следует. Марья Ивановна объяснила, что присяжный поверенный это человек, который всегда спорит с прокурором. Но тогда консьержка тоже присяжный поверенный. Ведь, Петр Петрович прокурор?

\* \* \*

А Марья Ивановна иногда здорово выдумывает. Говорит, что она сиделка. Разве беженка может быть сиделкой? Нельзя сидеть и бежать в одно время.

\* \* \*

Поднимались на днях с папой на самый верх Эйфелевой башни. Очень красиво. Спросил папу, нельзя ли отсюда увидеть Россию. Папа говорит: «Чтобы увидеть Россию, русскому человеку нужно подняться значительно выше». А как подняться, если башня кончается?

Вечером, когда ложился спать, догадался: нужно, наверное, чтобы все русские перестали быть беженцами и сделались летчиками.

\* \* \*

А Россию я очень люблю. Она, должно быть, огромная, великая. Если через одну речку Днепр, как читала мама, птица не перелетит, то сколько птиц надо, чтобы перелететь от края России до края?

Москва, наверное, такой большой город, что ни одно метро до конца не доходит. И автобусы идут, идут, ломают колеса, а не доезжают. В такси, чтобы проехать от московской Порт Сен-Клу до плас Конкорд, десять тысяч франков заплатить нужно и две тысячи на чай. А дома все, как Эйфелевы башни, только не в одиночку, а рядом. В каждом доме, у входа, сто консьержек внизу, целый пансион. Ассансер поднимается, поднимается и, чтобы скучно не было, кровати стоят, если спать захочется. И кругом все такое особенное... Крестьяне торжествуют, засевают поля маками и васильками, маки – как бочки, васильки – как деревья. Небо синее, синее, леса зеленые, зеленые, наверху – не одно солнце, а два, не одна луна, а три, звезд ночью в сто раз больше – сверкают, как вывески... И люди ходят одни только русские, все родственники, знакомые. Генералы публику везут, присяжные поверенные с заводов идут, прокуроры дошивают башмаки, туфельки. А крестьяне танцуют, взявшись за руки, и поют хором: «аллон з-анфан де ла патри!»<sup>146</sup>»

---

<sup>146</sup> Allons enfants de la Patrie! – «Вставайте, сыны Отечества!» (*фр.*), начальные слова «Марсельезы».

Боженька, скажи прямо: когда увижу Россию?

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 10 декабря 1928, № 1287, с. 2.*

## Из мира неясного

Нас собралось в Сочельник всего только трое. Однако, так как моя беженская комната по размерам очень скромна, то собрание сразу же вышло людным. На деревянной полке возле кровати уютно стоял рукомойник с воткнутой в него хвойной веткой. Это была елка. На небольшом столике, со сдвинутыми в сторону рукописями, лежали тарелки с компотом и рисовой кашей. Это были кутья, взвар. И, наконец, в углу, где растопырилось обитое ситцем хозяйкино кресло, таинственно дымила железная печь. Это был рождественский камин.

– Хорошо! – сидя после ужина на стуле и приятно жмурясь, протянул я скрючившиеся пальцы к огню. – Теперь бы, господа, по чашке кофе, ликера, святочных рассказов. Николай Николаевич, хотите чаю?

Николай Николаевич молча сидел на почетном месте в хозяйском кресле и загадочно смотрел на нас, когда мы с Владимиром Ивановичем приступили к воспоминаниям о всех таинственных случаях из далекого прошлого. Правда, моя прежняя жизнь, до воплощения в эмигранта, не особенно богата таинственностью. Около десятка небольших совпадений, три вещей сна, из которых два, к сожалению, не оправдались, одно привидение, виденное мною в имени у тетки в Тамбовской губернии...

И все. Но зато у Владимира Ивановича и прошлая и нынешняя жизнь – не жизнь, а сплошной спиритический сеанс.

– Николай Николаевич, – заметив, что после рассказа о восемнадцатом привидении Владимир Иванович значительно обессилел и тяжело стал дышать, обратился я к загадочно молчавшему нашему другу. – А как у вас? Были случаи?

– Нет!

Он сказал «нет». Но сказал это с такой болью в голосе, что мы оба сразу насторожились. Что случилось? Отчего такое странное «нет»? Не хранит ли Николай Николаевич в своей душе гнетущую тайну?

Уговаривать пришлось долго и много. Но, к счастью, наступила полночь. В соседней комнате хозяйские часы таинственно пробили двенадцать...

И Николай Николаевич сдался.

– Что касается привидений и духов, господа, – задумчиво начал он, размешивая ложкой сахар, – то должен сознаться: в этой области мне всегда не везло, хотя в душе своей я большой мистик, а по убеждениям ярый спирит. Могу сказать, что не только целого призрака, но даже небольшой материализованной руки или ноги – и то мне ни разу не удалось где-либо увидеть. На спиритических сеансах, когда начинаются стуки, первые слова почему-то всегда обидно направлены против меня. «Пусть он уберется», или «гоните его в шею», – вот обычные приветствия по моему адресу, на которые я даже перестал, в конце концов, обижаться. Из всех духов ко мне прилично относился только один Николай Кузанский, который говорил, обыкновенно, деликатно и вежливо: «Дорогой тезка, покинь сейчас же сеанс». Все же остальные, в особенности полководцы, непристойно грубы и несдержанны. Александру Македонскому, например, я никогда не забуду его оскорбительных выпадов в присутствии дам. А Наполеон... Впрочем, сами знаете: *De mortuis*<sup>147</sup>... Черт с ним, с Наполеоном! Не в этом дело, конечно.

Патентованные медиумы тоже сильно недолго любили меня. В Петербурге, например, нередко проводил я время в волосолечебнице на Невском, где знаменитый Гузик давал сеансы со своим материализованным медвежонком. И каждый раз, когда я приходил, Гузик хмурился, брался за голову:

– Сегодня не выйдет.

---

<sup>147</sup> О мертвых... [ничего, кроме хорошего] (лат. поговорка).

И, действительно, не выходило. Как ни старалась сидевшая возле меня генеральша громко петь «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке», как ни пытались подтягивать ей директор департамента и член совета министра внутренних дел – все напрасно. Выскакивавшая из-за занавески гитара, которой полагалось за десять рублей самой играть на себе, при виде меня замирала на первом аккорде, беспомощно валилась на пол. Детская дудочка, обязанная тоже по мере сил издавать звуки, упрямо молчала, недовольно ворочаясь с боку на бок в полутемном углу. И сам материализованный медвежонок в случае редкого своего появления, старался держаться от меня как можно подальше и панически отскакивал, когда я с научной целью протягивал руку к его мохнатому уху.

Так было все время. И в провинции, где я начал свою службу по окончании университета, и в Петербурге, куда меня перевели незадолго до революции. Пока, наконец, не повезло, вдруг...

Николай Николаевич слабо улыбнулся. По хмурому лицу скользнуло нечто вроде чувства удовлетворения.

– Наклевывалась, действительно, странная, жуткая история. Приехал я в Петербург после перевода и сразу же решил обзавестись своим хозяйством. Хотя я и холостяк, но тогда были у меня верные друзья: старый лакей Егор и любимец мой – сеттер Джек.

Квартиру я нашел по объявлению в газете: ее передавала до окончания срока контракта какая-то дама. Эта женщина сразу произвела на меня странное впечатление: лицо бледное, изнуренное, глаза впалые, с лихорадочным блеском. И движения – нервные... Во время передачи квартиры, просматривая контракт, я из простой учтивости, чтобы что-нибудь сказать, спросил:

- А вы совсем уезжаете из Петербурга, сударыня?
- Да... – смутившись, опустила она глаза. – Совсем.
- И не жаль?
- О, нет! Ничуть.

Кто была она, я не знал. Передача квартиры происходила поспешно, швейцара я не догадался спросить, а Егор был человеком нелюдимым, апатичным, ненавидящим излишние разговоры и знакомства с соседями. Переехали мы из гостиницы в квартиру, предварительно обмобилировав ее, прожили в ней около десяти месяцев тихо-мирно. И в это время я особенно упорно увлекался спиритизмом, несмотря на все неудачи. По вечерам вы никогда меня не застали бы дома: то я в волосолечебнице с Гузиком, то у кого-нибудь на сеансе слушаю брань от Помпея, то ночью, наконец, в таинственном доме где-нибудь на Каменном острове, тщетно ожидая появления призрака.

И, вот, однажды, управляющей дома извещает, что при возобновлении контракта повысит цену на пятьдесят процентов.

Посоветовавшись с Егором, решил я перебраться с квартиры, и через месяц жил уже на Петербургской Стороне. Новая квартира была значительно просторнее, дешевле, и все было бы хорошо, да к сожалению, Егор получил из Армавира письмо от больного сына, попросился в отпуск, уехал. И я остался один.

Вдруг, однажды, странная встреча.

Выхожу из партера в Мариинском театре к вешалкам. Только что кончилось «Лебединое озеро». Жду в сторонке, пока станет свободнее, так как не люблю толкотни. И вижу – знакомое лицо. Пристально смотрит на меня какая-то дама: глаза испуганные, на щеках бледность.

- Мсье Черняков?
- Да... Ах, это вы! Простите. Не узнал сразу.
- Да, да. Понимаю. На вашем месте, я бы тоже сделала вид, что не узнала. Но вы сами посудите, мсье Черняков: как мне было поступить с квартирой иначе?

Она умоляюще смотрела на меня, нерешительно пробуя улыбнуться, чтобы вызвать улыбку и на моем лице. Но я стоял, широко раскрыв глаза, ничего не соображая.

– А... в чем дело, сударыня?

– Вы меня спрашиваете – в чем? Воображаю, сколько раз вы посылали проклятия по моему адресу! Скажите только искренно: разве я, в конце концов, виновата? Не мой же дом, в самом деле! И те жильцы, которые передавали квартиру мне, тоже ничего не сказали... Кстати: как он себя вел?

– Кто, простите?

Виноватая улыбка, вдруг, сошла с лица собеседницы. Она пытливо посмотрела на меня, стараясь угадать – естественно мое изумление или нет. И тихо спросила:

– Ведь, вы же переехали оттуда, правда?

– Да.

– Вот то-то и оно. Впрочем... Все равно. Да, да. До свиданья. Муж ждет: получил манто... Всего хорошего, не сердитесь же!

Взволнованный, встревоженный, я вернулся домой под впечатлением встречи и, наспех поужинав, лег. Опустив на одеяло, взятое для чтения на ночь капитальное исследование Аксакова «Анимизм и спиритизм», я мучительно стал вспоминать, что было странного на моей старой квартире, перебрал все мелкие факты, все свои настроения... И, вдруг, наконец, радостно вспомнил:

Случай с Полугоревым! Да! Как это я не сообразил тогда?

Сергей Сергеевич Полугорев был моим соседом по имению в Лужском уезде, – после некоторого молчания продолжал Николай Николаевич. – Мы с ним встречались редко, никогда не переписывались, но, как бывает иногда между друзьями юности, страшно рады бывали друг другу при встрече. Как-то раз, когда я жил еще на старой квартире, он приехал в Петербург по спешным делам и на следующий же день утром должен был уехать обратно. Мы обедали вместе, весь вечер провели тоже вместе. Сначала в волосолечебнице на сеансе, потом у меня. Засиделись до глубокой ночи, горячо спорили о медвежонке Гузика. И я предложил:

– Оставайся, брат, у меня.

Сергей Сергеевич согласился, но с непременным условием: что теперь же попрощается, чтобы не будить меня утром. Прислуга постлала ему постель в кабинете, откуда на эту ночь, во избежание блох, изгнали бедного Джека. И, распроставшись с приятелем, я ушел к себе в спальню, разделся, заснул.

А ночью, вдруг, просыпаюсь от неожиданного резкого толчка.

– Коля! Колька! Проснись же! Это ужас! Кошмар! Я не могу спать там!

Лицо его было страшно: мертвенная бледность, растерянность... Но я, не приходя в себя, приподнялся в постели, недовольно спросил:

– Неужели Джек? Я же просил запереть... Свинство!

И, не ожидая ответа, чтобы не спугнуть сна, всунул ноги в туфли, направился к кабинету:

– Ложись, в таком случае, на мою. А я – туда... Спокойной ночи!

Полугорев исчез рано утром, когда я еще спал. Что случилось с ним ночью, я так и не узнал, да и не догадался узнавать: уверен был, что виною Джек со своими блохами. Но теперь – после слов дамы – ясно: дело не так просто. В кабинете, действительно, могли произойти с Сергеем Сергеевичем какие-нибудь странные вещи...

К сожалению, беспокойная столичная жизнь не позволила мне написать Полугореву. Я потерял его из виду, до сих пор не имею о нем никаких сведений. Даму тоже никогда не встречал нигде. А тут вспыхнула революция, я лишился места, уехал на юг. И до зимы 17-го года ничего не мог узнать о своей таинственной квартире, пока случайно не встретил в Ростове Егора. Со стариком я не виделся с тех пор, как он уехал от меня в отпуск.

Николай Николаевич хотел сделать небольшой перерыв, взялся было за чай. Но мы не позволили:

– Потом выпьете. Дальше!

– Ну, вот... Сижу я как-то на ростовском вокзале в ожидании поезда на Новочеркасск – грустным тоном стал приближаться к развязке Николай Николаевич. – Вам, конечно, известно, какой вид тогда имели вокзалы. Всюду – тела, шинели, узлы. В зале первого класса то же самое, что в зале третьего... Стою я над своим чемоданом, стерегу, чтобы никто не стянул. И, вдруг, знакомый изумленный голос:

– Это вы, барин?

Мы обрадовались друг другу, точно родные. Обнялись, расцеловались. После дружного возмущения всем происшедшим в России, перешли на воспоминания о совместной петербургской жизни.

– Между прочим, Егор, – придав голосу небрежный веселый тон, свернул я, наконец, на тему, которая мучила меня целый год со дня встречи с дамой в театре. – Ты помнишь нашу квартиру в Литейной части?

– А как же, барин, не помнить! Хорошо помню.

– Ты что-нибудь в ней замечал такое... Таинственное?

– Как не замечал! Хо-хо! Еще бы. Я из-за этого самого нередко на лестницу спать уходил. Житья не было. Прислуга-то у нас, не помните разве, больше недели никогда не держалась, сбегала. Несколько раз хотел я, было, вам доложить. Но все как-то воздерживался. А что по ночам творилось в квартире, – не приведи Господи!

– А что творилось? Например?

– Да, вот, помню случай... под Рождество. Ушли вы, Глаша тоже в гости отправилась. Иду, это, я в спальню, чтобы постель вам сготовить... И вдруг...

– Первый звонок! Поезд на Армавир, Минеральные Воды, Петровск, Баку! – стараясь покрыть общий гул голосов, заревел в вестибюле по старой привычке швейцар.

– На Армавир? – испуганно воскликнул Егор, бросаясь к лежавшей на полу корзине. – На Армавир – это нам. Прощайте, барин! Счастливо оставаться! Эй, Никита, стой! Марья! Куда? Налево! Уберите вы ноги, черти проклятые!

Николай Николаевич смолк. Печально вздохнул, опустил голову. И жутким молчаньем дал понять, что рассказ о потустороннем мире окончен.

*Из сборника «Незванные варяги», Париж, «Возрождение», 1929, с. 52-60.*

## Преступление и наказание

Из всех видов общественной деятельности самое опасное и самое ответственное занятие, это – доставлять радость своим ближним.

Вот, поднадуть публику, пустить ей пыль в глаза, забросить красивыми словами, обещаниями – это все значительно легче. И самому дешевле стоит, и ответственности немного, а уважения и преклонения хоть отбавляй.

Между тем, чистое благодеяние, не прикрашенное ничем и сделанное от души, всегда наводит на мрачные мысли:

- Почему человек расчувствовался?
- Не сошел ли с ума?
- Нет ли с его стороны гнусного преступления или подвоха?

До сих пор наиболее ярким носителем такой недоверчиво-мрачной логики я считал русского человека, в особенности мужичка. Это было как-то в порядке вещей у нас: все друг другу добродушные русские люди прощали: и хамство, и наглый обман, и даже убийство. Не прощали только одного: благодеяния.

Как кто-нибудь кому-нибудь поможет, – сейчас же отношения портятся.

Жили душа в душу, пока табачок врозь. А пришлось выручить соседа, в особенности материальной услугой, – и прощай дружба.

Сначала холодок. Потом легкий морозец в отношениях. А в конце концов не раскланиваются. Враги.

Помню я, например, рассказ одного знакомого помещика, еще задолго до революции. Был мой приятель насыщен разными гуманными чувствами, мировоззрения был либерального, идеи в голове бродили самые филантропические. И, вот, однажды пришла ему в голову несчастная мысль:

Подарить часть своего имения соседям мужичкам.

Чтобы обставить акт передачи, помещик пригласил представителей деревни к себе в воскресный день после обедни. Приказал дома заранее напечь пирогов, заготовить вина, разных сластей.

И за трапезой объявил о своем щедром даре.

Мужички сначала приняли предложение с восторгом. Благодарили барина, кланялись в ноги, обещали Бога молить. Было условлено, что через два дня снова зайдут и вместе с жертвователем поедут в ближайший город к нотариусу.

Распорядился барин запрячь лошадей к условленному часу, ждет мужичков – нет. Наступил вечер – нет мужичков. Прошел следующий день, второй, третий – нет их. И, вдруг, недели через две в усадьбу к приятелю вкатывает экипаж губернатора. Лицо администратора взволновано, в глазах неподдельный государственный испуг.

- Владимир Иванович, что вы наделали, голубчик?
- А что случилось?

– Да как, что случилось! Вы всколыхнули весь уезд! У меня беспорядки в губернии могут начаться! Вот, смотрите... Жалоба ольгинских мужичков. Пишут, что Государь Император приказал помещикам немедленно всю землю крестьянам раздать, а вы, мол, скрыли приказ и решили отделаться только небольшой, самой худшей, частью имения. Вы мне, батенька, своими подарками всю губернию погубите! Вы мне всех моих мужичков перепортите! Сначала подали жалобу ольгинские, затем пришло от святотроицких, красногорских... Ко вчерашнему дню тридцать две жалобы поступило. И все требуют, чтобы помещики отдали землю. И не часть какую-нибудь, а все, как Государь приказал...

Этот рассказ приятеля я живо помню до сих пор. Для доказательства того, как неблагодарны русские люди и как, подозрительно относятся они ко всякому благородному порыву души, история эта, действительно вразумительна.

Но, вот, на днях, читаю в газетах заметку, которая значительно умерила мой национальный пессимизм. Оказывается – черная неблагодарность не только русская черта. На Западе, где население, как говорят, культурнее и благороднее русского, благодеяния тоже, подчас, не безопасное дело.

Слава Богу, классический пример с моим другом побит в смысле рекордности. И побит самым просвещенным народом – английским.

В Манчестере, – читаю я, – некий гуманно настроенный домовладелец Джонсон, желая доставит радость жильцам своего дома, решил понизить вдвое квартирную плату. Джонсон, как и мой приятель-помещик, разумеется, не ждал для себя нечего, кроме легкого ответного энтузиазма и обещания вечно Бога молить.

И, вдруг, среди жильцов началась паника. Одни стали уверять, что дом, очевидно, дал трещину; другие – что дом неблагополучен в пожарном отношении; третьи, что дом нечист, что в нем завелись привидения...

На Джонсона посыпались жалобы во все инстанции, начиная со строительного отдела, кончая санитарным управлением. В каких-нибудь два-три месяца дом опустел. Жильцы съехали один за другим, несмотря на заключение комиссии, что дом во всех отношениях образцовый...

И вот филантроп Джонсон сидит теперь мрачный, угрюмый и решает задачу:

– Как доставлять людям радость, чтобы самому после не плакать?

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 1 апреля 1929, № 1399, с. 2.*

## Игра природы

- А вот, господа, произошел на днях со мной странный случай... Хотите расскажу?  
– Конечно! Просим!

Александр Геннадьевич помешал ложкой чай, сделал глоток, отодвинулся от стола.

– Дело в том, видите ли, – начал он, – что приехал сюда из Швейцарии один мой приятель, которому для его литературных работ необходимо побывать в различных парижских кабачках, понаблюдать ночную жизнь. Попросил он меня, как старожил, сопровождать его во всех этих странствованиях, все расходы, конечно, принял на свой счет.

Сначала все шло мирно и гладко. Отправились мы первым делом в Латинский квартал в один из погребков, где обыкновенно бывают апаша<sup>148</sup>. Приехали, закусили, выпили немного... И видим, целая апашеская компания врывается. Кепки на затылке, шарфы болтаются, рожи преувеличенно вызывающие... Американцы и американки, которые рядом за столиками сидели, так и растаяли. Какая-то компания голландцев от восторга охоть даже начала.

Сидит мой приятель, впился в апашей, следит за каждым движением, время от времени что-то записывает в тетрадочку. А я улыбаюсь, толкаю его в бок, тихо говорю:

– Брось, Саша. Ведь, это же свои.

– Какие свои?

– Да русские. Один – гусар, отлично его знаю, на Ситроене вместе служили. А другой – мировой судья... Очень почтенный.

Приятель не поверил сначала. Смотрит, как апаша свои шарфы на американок накидывают, голландцев по плечу похлопывают, из-под какого-то бразильца стул ногой вышибли. Записывает мой друг, записывает. И вижу я: один из апашей подходит к нему, чокнуться хочет.

– Здравствуй, Сережа, – шепчу я на ухо апашу. – Ну, как твои заработки? Са ва?

– Ради Бога... Молчи...

– Говорят, тысячи две-три в месяц имеешь. Правда? Позвольте вас, господа, познакомиться. Полковник Журавкин. Николаев...

Посидели мы в погребке еще полчаса. Приятелю, вижу, уже скучно. Записную книжку спрятал, стило тоже. И все на дверь поглядывает.

Бросили мы апашей, решили ехать дальше, в сторону гар д-Орлеан, во вновь открытый турецкий ночной ресторан.

Но вижу я, что здесь что-то неладно. Турецкий оркестр сидит в углу, на каких-то странных инструментах наигрывает, но мелодия – русская. Не то казачок, не то «Ой, не ходи, Грыцю». Только темпы изменены и синкопы введены для отвода ушей.

– Саша, а, ведь, и здесь, по-моему, наши, – говорю, наконец, я. – Подожди записывать. Эти турки безусловно не турецкого происхождения.

– Почему ты так думаешь?

– Во-первых, музыка... А, во-вторых, посмотри на этого гарсона в феске. Малоросс!

Кликнули мы гарсона, стали заказывать по-французски какое-то турецкое блюдо, а приятель Константинополь вспомнил, по-турецки начинает беседовать:

– Буюрунуз, эффендым.

– Комман?

– Емяк истериум. Фияти кач дыр, не веречигим?

– Ги-ги!.. – испуганно улыбается турок, постепенно отходя от стула и стараясь скрыться в толпе. – Якши. Бон!

<sup>148</sup> Apache – бандит, хулиган (*фр.*).

– Это, черт знает, что такое! – стоя у выхода возле величавого араба-швейцара, с сердцем произносит приятель. – Неужели ты все-таки уверен, что метр д-отель – присяжный поверенный?

– Уверяю, Саша. Дмитрий Андреевич Кончиков.

– Безобразия... Едем, в таком случае, в китайский кафешантан.

– Ну, и поезжайте, скатертью дорога, – слышим мы ворчание швейцара-араба. – Не беспокойтесь, плакать не будем.

В китайском кабачке просидели мы не очень долго. Приятель уже немного выпил, я тоже. И когда среди публики разыгрывалась пантомима, Саша воспользовался случаем, протянул руку к голове приблизившегося китайского артиста и легко сдернул косу.

– Болван! – прошипел артист. Но затем, спохватившись, нацепил косу, улыбнулся и стал по-китайски объяснять публике, что теперь в Китае косы стригут:

– Непунда, несунда, мсье! Кианг-си, тун бао, шанхай куан! – весело пояснил он.

Кончили мы наш этнографический объезд негритянским оркестром возле Пигалль. И, вот, здесь-то и произошла та странная история, о которой я хотел рассказать. Саша был уже на взводе, я, хотя и меньше, но тоже. Просидели мы за столиком до утра, с недоверием слушали музыку, хитро переглядывались, и решили, в конце концов, вывести негров на чистую воду, но только не в присутствии публики, а с глазу на глаз.

Наступил, наконец, момент, когда оркестр начал собираться домой. Мы с Сашей оделись, вышли на улицу, стали ждать. И, вот, видим – идут они целой гурьбой.

– Здравствуйте, земляк! – вежливо снял шляпу Саша, подходя к барабанщику. – Позвольте представиться: Журавкин.

Негр устало оскалил зубы, поздоровался, что-то пробормотал негритянское.

– Господа! – продолжал Саша, шествуя среди черных музыкантов и предоставив мне плестись сзади процессии. – Я воображаю, как вам это трудно, – дудеть и грохотать целую ночь напролет. Верно?

Негры удивленно загудели, кто-то хрипло рассмеялся.

– Не желаете раскрывать инкогнито? – начал постепенно сердиться Саша. – Ну, что ж, ваше дело. Только я вижу, господа, что барабанщик, судя по открытой улыбке, честнее вас всех. Земляк, скажите откровенно: как ваша фамилия?

– Быр бури вертаса.

– Нет, нет. Ты мне это оставь. Быр бура. Земляк! Умоляю!

– Эхты бакуба чамбара.

– Бакуба? Опять? Имя-то, отчество, по крайней мере, если стесняетесь. Не желаете? В таком случае, господа, я сейчас вас всех носовым платком разоблачу. Вот, если вы, например, Федор Степанович, то на платочке, когда потру физиономию, сейчас же все, как на ладони и выступит. Дайте вашу мордашку, Федор Степанович. Не хотите? Ну, щеку только... Что? Ажана? Ладно. Пожалуйста, пусть ажан. Все равно. Только удивляюсь – своему соотечественнику так отвечать! Который можно сказать, всей душой... У которого от национального чувства огонь в груди разгорелся... Мсье! Силь ву пле! Все равно. Я так дела не оставлю. В комиссариат? Идем в комиссариат. Но Федор Степанович от меня не уйдет.

Александр Геннадьевич смолк. Придвинулся к столу, взялся снова за чай.

– Ну, хорошо... – удивленно заговорила Анна Николаевна. – А в чем же... странная история, Александр Геннадьевич? Русские оказались?

– Вот в том то и дело, что нет, Анна Николаевна. Представьте, пришли мы в комиссариат, ажан ведет, приятель скандалит, барабанщик тоже на дыбы лезет... И когда стали составлять протокол – мы с Сашей так и обомлели. Вся компания – чистокровные негры! Понимаете? В Париже... В негритянском оркестре... С черной кожей... Одеты в экзотические костюмы... И вдруг, не русские, а негры! Разве не изумительно?

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 15 апреля 1929, № 1413, с. 2.*

## Рассаdники просвещения

Читаешь газетную заметку о том, что в Нью-Йорке двое преступников изобрели в период долговременного пребывания в тюрьме какую-то особую, чрезвычайно экономную, гидравлическую машину, – и чувствуешь невольную зависть.

Господи! Хоть бы пожить в подобных условиях годика два, три, солидной литературной работы!

Можно было бы написать что-нибудь в роде «Войны и мира»... «Божественной комедии»... В крайнем случае, «Горе от ума».

А то суетишься на воле, скачешь, размениваешься на мелочи, и нет ни одного часа свободного для крупных замыслов, для углубления в мировые проблемы.

С одной стороны, вечная забота о хлебе насущном. С другой стороны – гости.

Как только хлеб добыл, сейчас же кто-нибудь приходит на огонек. Как только огонек потушен, сейчас все мысли о новом хлебе.

А в придачу ко всему этому, – городской шум, грохот, правила для пешеходов, звонки, метро, трамваи, автобусы.

Уши заняты шумами. Глаза – рекламами. Внимание – переходом через улицу. И весь организм от окружающих токов превращается не то в конденсатор, не то в аккумулятор.

Идешь и чувствуешь, что все в тебе насыщено вольтами, амперами, эргами, гаусами, кулонами.

А как только захочешь дать всему этому мощный отпор, проявляется не психология и не сила воли, а простое электрическое сопротивление в омах.

Накаливаешься без толку, как лампа накаливания, горишь, горишь, пока не перегоришь. И бессмысленно обрывается нить.

Нет, право, нужно кого-нибудь прирезать, чтобы выдвинуться и занять почетное положение в истории цивилизации.

Американку какую-нибудь убить, что ли? Или вексель подделать? Конечно, нужно не пересолить, совершить преступление в меру. С одной стороны, чтобы гильотина не угрожала. С другой – чтобы не выпустили слишком рано, в самый разгар работы.

К средним векам или к нынешним советским тюрьмам, разумеется, эти рассуждения неприменимы. Но в современных цивилизованных странах тюрьма для вдумчивых людей становится все более и более заманчивым местом.

Стол – готовый. Помещение – бесплатное. Освещение... Отопление... Библиотека... В метро ездить не надо. Бриться тоже. Световых реклам и шумов нет. А, главное, никто не мешает. Никто не придет невзначай и не скажет:

– А! Вы работаете? Очень рад, что застал.

Бросая взгляд назад на наше дореволюционное прошлое, удивляешься, как были бездарны и бессодержательны в своей массе наши политические заключенные!

Ведь, сравнительно с беженским положением, условия – великолепные. Об этом говорит и завидное здоровье бывших политических и их долголетие.

Одна бабушка русской революции в этом отношении – сплошная реклама.

А, между тем, кто из них дал миру что-либо великое? Оригинальную систему философии, например? Бессмертную поэму? Хотя бы гидравлическую машину нового типа?

Только шлиссельбуржец Морозов<sup>149</sup> пытался. Да и то – слишком наивно.

---

<sup>149</sup> Николай Александрович Морозов (1854–1946) – писатель, ученый, революционер-народник, масон. Провел 25 лет в Шлиссельбургской крепости, где им было написано 26 томов различных рукописей, в том числе по химии, физике, математике и астрономии.

Ну, впрочем, что было, то было. Прошлого все равно не исправишь. Зато что касается будущего, то на усовершенствованные европейские и американские тюрьмы мы можем взирать с огромной надеждой.

Ведь благодаря быстрому темпу жизни человечество так мельчает, что, быть может, только тюрьма и спасет нас от полного исчезновения мыслителей. Прежние рассадники просвещения и уединенной углубленной мысли – монастыри – отжили свой век. Богом мало кто занимается.

Но вместо них должны же быть новые уединенные центры. И этими уединенными центрами, очевидно, и явятся тюрьмы.

Отравит какая-нибудь мидинетка<sup>150</sup> своего мужа из ревности, сядет в камеру, начнет писать... И, вдруг, получится новая Жорж Санд.

Или убьет кто-нибудь прохожего целью ограбления, тоже сядет. И выпустит капитальное произведение:

«Исследование о природе и причинах богатства народов». А затем, глядишь, – в одной тюрьме появился новый Паскаль с глубочайшими своими «Пансэ»<sup>151</sup>. В другой – Декарт с исходной формулой: «Я сижу, следовательно, существую»... В третьей – Дидро, начавший путем перестукивания с соседями составлять новую «Энциклопедию»...

Ну, разве не к этому идет все?

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 26 апреля 1929, № 1424, с. 2.*

---

<sup>150</sup> Галлицизм: мидинетка – закройщица, швея, продавщица.

<sup>151</sup> «Pensées» – «Мысли» (*фр.*); полное название трактата Паскаля: «Мысли о религии и других предметах».

## На Лазурном берегу

### 1. Как это случилось

Сию сейчас в Болье-сюр-мер. У меня балкон с видом на море. В саду прекрасные, немного подмерзшие за зиму, пальмы. Как называются, пока еще знаю: может быть, финиковые, может быть, кокосовые, все равно... По бокам угрюмые, скалистые горы; хорошенькие виллы, прилепившиеся к зеленым склонам, и наверху, у самой вершины, развалины какого-то строения. Не то древний замок в стиле Гуго Капета, не то римские бани. Хотя на метеорологическую станцию тоже похоже.

В общем, сижу, жмурюсь от яркого солнца, от блеска синего моря, смотрю на загадочные пальмы, на загадочный замок и с удивлением вспоминаю:

– Как это случилось, что я здесь?

– Собственно говоря, мы оба – и я, и мой приятель – давно мечтали съездить на Ривьеру, куда к лазурным берегам невольно нас влекла неведомая сила. Однако с неведомой силой всегда вступала в конфликт другая, слишком ведомая и слишком определенная сила – сила беженских обстоятельств, то на поездку не хватало тысячи франков, то девятисот, то семисот пятидесяти...

И, вот, на этот раз, нам посчастливилось. При подсчете обеих касс, неожиданно оказалось, что не хватает всего на всего четырехсот семидесяти пяти. Такого удачного случая у нас до сих пор ни разу не было, а тут как раз Пасха наступала, предстояли всевозможные предпраздничные неприятности.

– Едем? – спросил меня приятель, держа в руках подсчитанную уйму десятифранковых билетов.

– А 475?

– Я займу 200 у своего портного, который шьет мне в рассрочку.

– Хорошо... – А 275?

– Заложим кое-что. В Монте-Карло отыграемся, выкупим...

Колебался я весь Страстной вторник и среду. Но когда в четверг дома начали снимать занавески, сдвигать мебель и ловить в углах пауков, а фамм де менаж<sup>152</sup> стала мазать мастикой по моим ногам, – колебания исчезли. Вытащили мы из кладовой чемоданы, разложили посреди комнаты и начали обсуждать, у какого из них вид приличнее.

– У этого, новороссийского, по-моему, краска свежее, – постукивая и перевертывая чемоданчик на разные стороны, любовно говорил приятель. – Хотя и петли отстают и замок не действует, что ж такого? До Ниццы хватит.

– А из Ниццы обратно?

– В Ницце новенький купим. В Монте-Карло сыграем два раза на руж, два раза на энпер, вот и обзаведемся. Жаль только, в углу дыра почему-то. Когда она успела появиться, а? Впрочем, не беда. Мелочей все равно брать не будем, а пиджаки и брюки не вывалятся. Для них слишком узко.

В пятницу мы отправились на Большие бульвары покупать то, чего не хватало для путешествия. Приятель приобрел около остановки Сен-Дени две пары отличных носков, я купил галстук, чтобы было в чем пойти в казино. А затем зашли в шикарный магазин дорожных вещей «Пижон вояжер».

---

<sup>152</sup> Femme de ménage – домработница, уборщица (фр.).

– Мы едем в Ниццу, – любезно стал объяснять мой приятель приказчику цель своего посещения. – Нет ли у вас чего-нибудь такого, чтобы сделать поездку приятнее?

– О, мсье! Разумеется! Весь наш магазин к вашим услугам.

– Послушай, – подталкивая приятеля в бок, испуганно прошептал я, – к чему ты разговариваешь? Ведь, нам нужно только два ремешка...

– погоди, погоди. Не твое дело. В кои веки в такой магазин попали, нужно же ознакомиться. Этот чемодан, сколько стоит, мсье?

– Тысячу двести.

– Так. А этот? С несессером внутри?

– Девятьсот пятьдесят.

– Отлично. Очень милая безделушка. Алор, мсье, дайте мне пока два ремня. Прочных, кожаных, поэлегантнее. А затем... А затем мы зайдем попозже. Очевидно, возьмем этот большой вот этот. А сколько стоит тот? В виде шкапа?

– Две тысячи триста.

– Очень недорого. И, главное, вещи не мнутся. Ну, итак... два ремешка, се-ту<sup>153</sup>. О ревуар.

Не буду утомлять внимание рассказом о том, с каким чувством собственного достоинства мы брали билеты третьего класса на центральной станции Лион-Медитерранэ. Не буду рассказывать и о том, какой тюк провизии забрал с собой в дорогу мой друг, не соображаясь с тем, что поездка наша окончится завтра, а не через три недели.

Но факт тот, что отъезд наш сделался реальным делом, чего никак не ожидали скептически настроенные русские соседи по дому. Поезд в Ниццу отходил в 9 час. 35 мин., и потому ровно в 8 час. 12 мин. мы были уже на Лионском вокзале, где долго втолковывали в голову носильщика, какой поезд нам нужен.

– Вы, может быть, едете в Виши, – не сдавался он, с удивлением взглядывая на часы.

– Нет, нет, на Ментону.

– А то есть еще местный поезд на Монтаржи, – упрямо продолжал он, – через одиннадцать минут отходит...

К счастью, состав был уже подан, и ждать на перроне не пришлось. Сопровождаемые подозрительным взгляд обер-кондуктора, который, очевидно, не понимал, к чему нам понадобился вагон за час до отхода поезда, мы забрались в купе, заняли чемоданами, ремнями и свертками все полки вверху и принялись ужинать.

– Мне кажется, это немного неудобно... – разрывая курицу на части, сказал я. – Еще даже не отъехали, а уже едим.

– Что ж такого? У каждого народа свои традиции, – жуя бутерброд, неясно пробормотал приятель.

– Все-таки... Случайно могут прийти пассажиры, увидят... В чужой монастырь, так сказать, со своим уставом...

– Хороший монастырь, нечего сказать. Ну, ешь, ешь, не волнуйся. А где термос? Давай-ка нашу гордость. Кофе, должно быть, совсем горячее... Батюшки! Что это такое? Все вытекло. Салфетка мокрая... Полотенце... Ах, простофиля! Ведь, в самом деле: он у меня еще в Сербии лопнул! Во время крушения...

Неудача с термосом сильно омрачила начало поездки. Дело не в том, конечно, что жаль затраченных в 1921 году ста динар, а дело в том, что сплавить такую вещь, как термос, сидя на станции, чрезвычайно трудно.

Выкинуть в умывальник? Не лезет. За окно? Там ходят служащие. Забросить в чужое купе? Но остатки кофе растекутся, запачкают... Свинство.

---

<sup>153</sup> C'ets tout – вот и все (фр.).

Пряатель вышел с термосом на перрон, поддерживая пальцем дырочку, откуда капало кофе, внимательно оглядел публику, выбирая – кому бы подарить свой предмет первой необходимости. Но затем, не решившись, грустно махнул рукой и осторожно стал красться вдоль стоявшего по соседству с нами экспресса, стараясь незаметно сбросить термос на рельсы...

*«Возрождение», Париж, 8 мая 1929, № 1436, с. 2.*

## 2. Как спать в вагоне третьего класса. – Лионский кредит. – Авиньонский акробат. – Тартарен из Тараскона

В нынешней беженской жизни я привык относиться равнодушно к чужому богатству и никому не завидовать: ни людям, живущим в особняках, ни собственникам автомобилей, ни посетителям шикарных ресторанов, ни слушателям оперы Кузнецовой-Массне<sup>154</sup>, покупающим билеты в партер...

Но есть все-таки одна вещь, которая вызывает во мне легкий ропот на судьбу. Это – созерцание международных спальных вагонов. Какое наслаждение – взять отдельное купе со столиком, на котором под мягким абажуром горит уютная лампа, растянутся во всю длину, подложить под голову подушку и спать. Поезд мчится, а ты спишь. Вокруг чудесные пейзажи с полями, садами, холмами, а ты спишь. Поезд врывается в горные массивы, кружит по ущельям, перевалам, среди дикой красоты первозданного мира, а ты спишь...

Были бы деньги, взял бы кругосветный билет, завалился бы... И просыпался бы только, чтобы поесть. Чудесно.

Ведь путешествия так развивают кругозор...

Купе третьего класса, в котором я еду сейчас на юг, уже полно народу. Приятель, слава Богу, кое-как примостился у окна, вложил голову в угол, ноги подтянул под себя, руками ухватился за ремень оконного стекла и мирно дремлет. А я сижу посередине, на другой стороне, и боюсь заснуть. С одного бока у меня старая марсельская торговка, с другого – мароканец сурового вида. И свалиться во сне в объятия того или другого соседа жутко.

А тут еще, напротив, какая-то долговязая анемичная девица с ногами кузнечика, качающимися непосредственно у меня под носом. Малейшее неосторожное движение с моей стороны, пустяковый шахматный ход затекшей ноги – и получится чудовищный флирт.

Конечно, будь соседи – добрыми старыми знакомыми, или будь все это своя компания беженцев, мы бы отлично устроились на кооперативных началах. Каждый внес бы, в виде пая, половину своего места, чемоданы разложили бы на полу вдоль, сами разлеглись бы поперек... Но, что у меня общего с марокканцем, который под влиянием советов, мечтает о полной самостоятельности? Да и с марсельской эписьерщицей<sup>155</sup> кооперация тоже гадательна. Уступишь ей один пай, а она вдруг захватит три.

Между тем, как отвратительна эта вынужденная бессонница. Сидишь, трясешься, закрыв глаза, и чувствуешь, как голова постепенно бухнет, как в разных частях тела образуются муравейники, а в мозгу мысли – самые мрачные, тяжелые, липкие...

– Разве в тесноте нынешней цивилизации возможна проповедь любви к ближним? Ближних можно любить только на расстоянии, когда они сравнительно далеко. Но, когда они трутся о твои плечи, о спину, дышат тебе в лицо, наступают на ноги, – брр!

Сижу, закрывши глаза, отдаюсь мрачным мыслям и сквозь большую полудремоту, слышу иногда названия станций...

– Лион!

Счастливые лионские беженцы! Спят сейчас в своих постелях, вытянулись. Выспятся, встанут утром, отправятся на работу, потом мирно пойдут обедать: или за наличные, или в лионский кредит... А я?

---

<sup>154</sup> Частная компания «Русская опера» в Париже (1927–1933), организованная известной русской певицей М. Н. Кузнецовой, бывшей замужем за банкиром и промышленником Альфредом Массне, племянником французского композитора Жюль Массне.

<sup>155</sup> От фр. *épicièr* – лавочник, торгош.

Вот уже рассвело. Стою у окна, вижу Рону, хребет Севеннских гор, кое-где на скалистых уступах замки... Если бы смотреть из спального вагона, было бы очень красиво. А так... впечатление неясное. Глаза слипаются. А главное, голова чертовски болит.

В Авиньоне в купе вошел новый пассажир странного вида. Костюм потрепанный, шляпа артистически изогнута, из бокового кармана пиджака выглядывает револьвер. Лицо бритое, с бородавками, походка торжественная.

Оказывается, – акробат. Живет в Авиньоне у родственников, пленен безработицей, как некогда было здесь с папами... И клянет кинематограф, который вытесняет теперь чистое цирковое искусство.

– Кавало се неча! – начинает он ораторствовать на все купе. – Родственники хотят приспособить меня к торговле ножами (вместо «куто<sup>156</sup>», он говорит «кутео»). Но вы понимаете, мсье, какое унижение для партерного акробата заниматься торговлей. Это верно, ваше искусство тяжелое. Принимая вольтижера на свои плечи, я всегда должен быть точен, как Бог. Это вам не политика, где можно болтаться из стороны в сторону, и не торговля, где все основано на неуверенности покупателя. Я восемьдесят кило выдерживал на своей спине, с размаху, это что-нибудь да значит.

– А вы не пробовали, мсье, играть в синема? – почтительно спрашивает торговка, с тревогой взглядывая на торчащий револьвер. – В синема люди хорошие деньги делают.

– Я не продаю своей души черту, мадам, – гордо отвечает акробат. – В цирке все люди уважают друг друга. В цирке все должны быть друзьями, иначе ни один номер не выйдет. А в синема – все враги. В синема нужно быть змеей, мадам, чтобы уметь ползать перед режиссером.

Поезд подходит к Тараскону. С любопытством смотрю в окно на городок, посреди которого возвышается замок. Вспоминается Тартарен<sup>157</sup>... А акробат гудит, критикует все и всех:

– Лион! – презрительно говорит он. – Но разве это город, мсье? Это – водосточная труба. Мы в Провансе не даром говорим, что жители Лиона никогда не покупают шампиньонов, потому что шампиньоны растут у них на башмаках. А что касается нас, провансальцев, то мы самый трезвый народ во всей Франции. Мы обожаем только сидр, хотя пьем исключительно вино.

Поезд стоит в Тарасконе не долго. Уходит назад станционное здание, постепенно скрывается город. Мой приятель мечтательно смотрит в окно, затем с улыбкой обращается к долговязой соседке:

– Благодаря Тартарену, мадемуазель, этот город стал знаменитым на весь мир, неправда ли?

– Возможно, мсье. Только я не из этих мест. Я из Фонтенбло.

Торговка, переставшая слушать акробата, пытливо смотрит на моего друга.

– Вы знаете Жюля Тартена, мсье? – спрашивает она.

– Нет, Тартарена, мадам. Которого, помните, описал Доде.

– А! Значит другого. А мсье Тартена я хорошо помню. Прекраснейший человек. И жена тоже. Магазин у них в Тарасконе, шаркютри<sup>158</sup>.

*«Возрождение», Париж, 10 мая 1929, № 1438, с. 2.*

---

<sup>156</sup> Couteau – нож (фр.).

<sup>157</sup> Герой цикла романов французского писателя Альфонса Доде «Тартарен из Тараскона».

<sup>158</sup> Charcuterie – мясная лавка (фр.).

### 3. Побережье. – Теория относительности в применении к красотам природы. – Марэ Нострум

Не обладая опытом путешественников-спецов, умеющих подробно описывать города, глядя на них из окна экспресса, я не буду ничего говорить ни о Марселе, ни о Тулоне. Единственно разве, что удалось мне заметить здесь, это чрезвычайно повышенный областной патриотизм.

Во всяком случае, тот марселец, который ехал с нами от Тараскона, поразил меня нежной любовью к своему городу. Подошел поезд к берегу, вдоль которого плескались мутные волны моря, отражавшего серый цвет дождевых туч, а марселец воскликнул:

– Смотрите, мсье! Наше прекрасное блё<sup>159</sup>!

Хотя я ясно видел, что при данных условиях это было совсем не «блё», и просто «гри<sup>160</sup>».

А когда море исчезло, по обеим сторонам стали проходить пыльно-красные заводы, выделяющие знаменитую марсельскую черепицу, собеседник снова воскликнул:

– Вы видите, мсье, какие у нас тюильри<sup>161</sup>? Это вам не Париж, где в Тюильри нет ни одной черепицы!

Миновав вслед за Марселем Тулон, в котором в честь русских когда-то происходили пышные торжества, и в котором теперь ни меня, ни моего приятеля никто не пожелал чувствовать, мы скромно двинулись дальше, по департаменту Вар, и выехали, наконец, на настоящую Ривьеру возле Сен-Рафаэля.

Итак, вот он, Лазурный берег. Местность, столько раз воспевавшаяся при помощи чернил, карандаша, масла, пастели и туши, что запоздалому наблюдателю, вроде меня, уже ничего не остается сказать. Наши русские беженцы, как и во всем прочем, во мнении о Ривьере разделяются на два непримиримых, резко враждующих, лагеря. Одни, при упоминании о Ницце и Каннах, восторженно восклицают «ах», другие же при упоминании пренебрежительножимают плечами и с кислой миной произносят: «дрянь».

По-моему, истина здесь, как и во всех русских раздорах, находится посредине. Как раз в той самой середине, где сталкиваются мнения и где, вместе с истиной, рождаются враждебные действия. Конечно, после нашего Крыма, или тем более, Кавказа, никаких оснований нет кричать «ах» и приходит в эстетическое умоисступление. Но говорить пренебрежительно «дрянь», или называть побережье «чепухой», – это то же в высшей степени несправедливо, и объясняется чрезмерным шовинизмом, притом, к сожалению, запоздалым.

И действительно: сколько теперь среди нас патриотов своей колокольни, после того, как большевики колокольню украли!

Помню, бывало, в петербургских гостиных такие беседы:

– Княгиня, а эту осень, где вы собираетесь проводить: в Крыму?

– Ах, нет, дорогая моя. Крым так неблагоустроен!

– Где же, в таком случае? В Гаграх?

– Ну, что вы, кто может жить в Гаграх? С одной стороны комары, с другой – лягушки.

Вообще, скажу я вам, дорогая моя, наша Россия удивительная страна: одна шестая часть суши, а поехать некуда.

И вслед за тем начинается восхваление французской Ривьеры.

Теперь та же самая княгиня сидит в своей нищенской квартире на рю де Франс, беседует со старой петербургской знакомой, и все время слышатся вздохи:

<sup>159</sup> Bleu – синий, лазурный (фр.).

<sup>160</sup> Gris – серый (фр.).

<sup>161</sup> Tuileries – черепичный завод (фр.).

– Дорогая моя, да разве это климат? Да ведь это чудовище! На солнечной стороне улицы восемнадцать градусов, на теневой – три! Каждый раз, когда я перехожу с одного тротуара на другой, я немедленно заболеваю гриппом. А этот трамвай, дорогая моя?... Видели ли вы что-нибудь подобное в России, когда-нибудь где-нибудь? Стенки трясутся, стекла трясутся, сиденье под вами ходит, кондуктора для того только и существуют, чтобы устраивать сквозняки... А на улицах летом пыль, зимой грязь, а тротуары построены с таким расчетом, чтобы близорукий человек обязательно попадал в выбоины. И затем, непосредственно начинается восхваление: Крыма, Гагр, Сочи, Кисловодска, Пятигорска и даже Старой Руссы.

– Ах, краевые камни! Какой воздух! Какие прогулки! А солнце в Симеизе! Море, море какое!.. Скалу Монах помните? Где здесь такие монахи, скажите, пожалуйста? А алупкинский «хаос»? Вы видели у них хоть какой-нибудь небольшой хаос? Все прилизано, все расчищено, не на чем отдохнуть русскому глазу!

Спору нет: развитие здорового национального чувства в русских людях прекрасная вещь. Только к чему это неумолимое отношение к чужим ценностям?

Нет, Ривьера прекрасна. Не так прекрасна, как Черноморье, конечно, но, в конце концов, причем Черноморье, если живешь в Ницце? А обилие русских на берегу, кроме того, ясно указывает, что местность именно превосходная, приспособленная к самому требовательному капризному вкусу. На что непоседливый и вечно будирующий человек В. В. Шульгин<sup>162</sup>... А и тот обосновался здесь, возле Сен-Рафаэля...

И когда подсчитаешь, сколько наших живет здесь, и когда увидишь, сколько русских в Ницце по «Променад-дез-Англе», превращая эту чудесную набережную в «Променад де Рюс», удивляешься никчемному шовинизму некоторых.

Конечно, Ривьера восхитительна. И небо, и горы, и море. И глупо бросать в это море камнем, когда про него каждый русский смело может сказать:

– Mare nostrum!<sup>163</sup>

*«Возрождение», Париж, 15 мая 1929, № 1443, с. 2.*

---

<sup>162</sup> Василий Витальевич Шульгин (1878–1976) – политический и общественный деятель, публицист. Во время революции принял отречение из рук Николая II.

<sup>163</sup> Наше море (*лат.*) – прозвание Средиземного моря у древних римлян.

## 4. Как русские живут и работают

Количества беженцев, проживающих на побережье от Сен-Рафаэля до Ментоны, мне так и не удалось в точности выяснить. Одна ниццкая дама уверяет, что тридцать тысяч, другая, что пять, а местный общественный деятель указывает цифру в восемь тысяч, как наиболее вероятную.

Итак, пять, восемь, или тридцать – неизвестно. Но, во всяком случае, немало. Настолько немало, что в Ницце в православные пасхальные дни можно было наблюдать характерное явление в витринах кондитерских:

Везде куличи и бабы, заготовленные французами для иностранцев.

Приезжающему из Парижа русскому беженцу, при первом взгляде на побережье, становится несколько жутко за своих соотечественников. Как можно найти тут работу этим восьми или десяти тысячам человек, когда нет ни завода Рено, ни Ситроена, когда даже шофером такси невозможно устроиться в силу суровых ограничений со стороны местных властей?

Однако, русский человек тем и замечателен, что не он боится тяжелых обстоятельств, а тяжелые обстоятельства боятся его. Куда ни поместить нашего русского, в какой точке земного шара ни расположить, он быстро превратит эту точку в целый круг деятельности, проведет к кругу необходимые касательные линии, опишет многоугольник, коснется того, другого, третьего, и не пройдет года, двух лет, как, глядишь, из прежней воображаемой геометрической точки выросла солидная реальная фигура.

И все другие, туземные, фигуры с ней уже в тесной связи.

Прибывая на Ривьеру, каждый русский, если у него нет ни сантима, естественно начинает внимательно оглядываться и тщательно изучать: чего не хватает местному населению, чтобы оно благоденствовало?

Достаточно ли интенсивно строительство?

Не нужно ли украсить берега?

Хорошо ли питаются?

Не мало ли цветов в садах и в цветочных заведениях?

И, вот, в течение нескольких лет, благодаря этому качеству, все, так или иначе, устроились. На новых постройках работают русские; электричество проводят русские; водопроводы и шоффаж<sup>164</sup> ставят русские. Нечего говорить, что есть на Ривьере русские магазины, рестораны, модные дома, пансионы... И нередко бывает, что люди с инициативой из ничего создают состояния.

Вот один казак, например. Приехал в Ниццу, увидел, что жара стоит невыносимая, и сразу догадался, что на жаждущих и страждущих от этой жары, можно сделать отличное дело. Явился к представителю пивного завода, взял в кредит бочку пива, отправился на пляж торговать...

А теперь ему предлагает другая, конкурирующая пивная фирма отступного сто тысяч, чтобы он прекратил свою деятельность. Но казак о такой ничтожной сумме и слышать не хочет. В лето зарабатывает сорок тысяч чистых.

Есть на Побережье и другой удачливый казак, бравый кубанец. До приезда своего на Ривьеру, служил в Африке у одной компании в качестве проводника караванов. И, вот, однажды произошел счастливый случай: на караван напали разбойники.

---

<sup>164</sup> Chauffage – (центральное) отопление (*фр.*).

Какой убыток могла понести компания, если бы не было в числе охраны кубанца, я не знаю. Но именно, благодаря казаку, разбойники были отбиты и мало того: им пришлось тут же, в пустыне, уплатить потерпевшей охране изрядную сумму в качестве домаж энтерэ<sup>165</sup>.

На долю казака пришлось сто тысяч, которые он привез на Ривьеру. И сейчас этот гроза африканских разбойников – ниццкий землевладелец. За участок земли, который он приобрел за 60 тысяч, ему уже дают 200.

Не мало любопытных случаев о неожиданной удаче русских рассказали мне здесь. Но, конечно, все это счастливые исключения. Общей массе приходится устраивать свою судьбу путем неутомимой работы, упорным трудом. И в этом отношении чрезвычайно показательна деятельность наших садоводов, цветоводов и пчеловодов.

Казалось бы, большая смелость со стороны беженцев браться за цветоводство в том районе, который славится на всю Европу цветами. А между тем, уже есть здесь немало русских садовников, прекрасно выдерживающих конкуренцию, достигших отличных результатов в культуре роз, гвоздик, левкоев и анемонов. В прошлом году, например, наш соотечественник А. К. Повелецкий, на выставке цветоводства в Антибе получил первый приз и почетный отзыв за свои экспонаты. Около Грасса русские культивируют жасмин и фиалки, которые идут на грасские фабрики духов. А в Ницце известный всему черноморскому побережью Н. И. Воробьев<sup>166</sup>, совместно с братьями Бобылевыми, устроил питомник декоративных растений, в котором культивирует не только те сорта, какие по традиции разводятся здесь, но пробует выращивать растения и совершенно незнакомые французской Ривьере.

Для местных жителей или итальянцев, эта попытка была бы, пожалуй, достаточно затруднительной. Но у нас дело обстоит очень просто: один из компаньонов Воробьева живет на острове Яве, сам Воробьев живет здесь, на Ривьере, а семена яванских растений путешествуют, поступают в ниццкий питомник и пробуют силы: можно ли акклиматизироваться?

Как передавал мне Н. И. Воробьев, уже вполне хорошо почувствовали себя на Ривьере яванский теронг и яванский гелиантус. Что касается других растений, то они пока на испытании в питомнике. Но, по-моему, уже теронга, гелиантуса и прочих приведенных примеров достаточно, чтобы предвидеть, как изменится с течением времени Ривьера и чем мы ее засадим, покроем, застроим и вообще разделаем, если только большевизм не будет в скором времени свергнут, и наши не вернутся в Россию.

*«Возрождение», Париж, 18 мая 1929, № 1446, с. 2.*

---

<sup>165</sup> Dommage enterré – нанесенный ущерб (фр.)

<sup>166</sup> Николай Иванович Воробьев (1869–1950) – этнограф и географ, один из основателей Общества изучения Черноморского побережья. Участник 1 Кубанского («Ледяного») похода. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь, затем в Сербию. Сотрудничал в белградской газете «Новое время». Затем переехал во Францию. В Ницце устроил ботанический сад субтропической флоры. В второй половине 1940-х гг. переехал в Париж, где заведовал хранилищем Общества сохранения русских культурных ценностей.

## 5. Монако. – Гнездо революционеров. – Язык пушек

Друзья, живущие в Болье, любезно предоставили в наше распоряжение свой автомобиль, и теперь мы с приятелем властны над всем побережьем. Носимся внизу, у самого моря, любуясь суровой красотой гор, мчимся вверх, по «корнишу»<sup>167</sup>, глядя вниз, на синюю гладь...

Эх, чудо автомобиль! Какой русский не любит твоей третьей скорости, когда гудишь ты, дрожишь, и нет конца твоим мощным порывам, пока не иссякнет бензин. Вьется смолистая дорога среда уступов скал, поблескивая черным гудроном. Реет над обрывами в крутых поворотах, где склоняются над пропастью морские сосны, оливы, фиги; врывается в камень гор, нарубленных динамитом; уходит в нежную зелень ущелий, открывает внезапно морскую ширь; ласкает восхищенный взор хороводом земли, моря и неба, бросает в лицо прохладу встречного ветра...

О, вы, мотор, магнето и третья скорость! Не вы ли вдохнули в международную душу мятежность исканий? Не вы ли вместе с гудком, создали бессмертную песню, царящую в нынешнем искусстве и языке:

– Кряк! Кряк! Кряк!

Каких-нибудь полчаса, и мы уже в Монако. Едем осматривать дворец и историческую площадь, где еще так недавно бушевала грозная революционная буря.

Странно... Как я ни следил, чтобы заметить, где кончается Франция и начинается Монакское княжество, – ничего из моей попытки не вышло. Правда, после Кап д-Ай, на шоссе в одном месте стояло нечто в роде шлагбаума. Но это, как оказалось, относилось к ремонту дороги. Затем встретился один господин с позументами и в золотистой фуражке... но это был портье с названием отеля на желтом околыше.

Впрочем, где находится граница, не знают не только такие молодые туристы, как я, но даже опытные старожилы, которые этой границы тоже никак не запомнят. Единственно, что мне удалось установить, это окраину княжества в восточной части Монте-Карло. Есть там одна улочка, четные номера которой находятся в Монако, а нечетные во Франции. В смутные дни революции здесь, как говорят, наблюдалось необычайное оживление. Когда инсургенты добились у своего князя успеха, они собирались в четных номерах и ликовали победу. Когда же князь отступился от обещания и пригрозил восставшим суровыми карами, революционеры бежали за границу, расположились в нечетных номерах, и оттуда руководили движением, как эмигранты.

Разве не удобно иметь такое отечество?

Центр управления Монакским княжеством расположен на живописной скалистой горе, вдающейся в море. Подъезжая к этому кремлю, опоясанному остатками старинных крепостных стен, уже издали чувствуешь, что здесь шутки плохи, и что монегаски даром не уступят своей независимости. А когда поднимешься по живописной крутой дороге, и, минуя музей, достигнешь, наконец, дворцовой площади, становится даже страшно.

Кругом пушки и ядра!

Три орудия с правой стороны ото входа в замок. Три орудия – с левой. Ядра собраны в кучи, возле каждого, чтобы заряжать было быстрее и чтобы драгоценное время не пропало даром.

А по бокам площади, возле западного и восточного обрывов, тоже по несколько орудий. Западные направлены трехдюймовыми жерлами на Францию, восточные на Италию.

Как бороться против подобной твердыни? Монегаски ясно понимают это, и поэтому вид у них гордый, самоуверенный. Разукрашенный часовой – с красными лампасами на панталонах

<sup>167</sup> Corniche – здесь: местная прибрежная дорога, прозванная Карнизом (фр.).

нах и с белыми пампасами перьев на треуголке – свирепо ходит взад и вперед у ворот, сверкая длинным штыком над плечом. Группа карабинеров с противоположной стороны, у входа в казарму, величественно греется на солнце, позевывая и почесываясь в ожидании врага. А недавние революционеры – смирившиеся или получившие амнистию и перекочевавшие из нечетных номеров пограничных улиц в четные – мирно бродят возле дворца, смотрят с обрыва на соседние великие державы, и какая-то женщина с двумя младенцами тут же, возле часового, занимается устройством семейной идиллии. Старшего мальчика посадила на пушку, младшего на вытянутых руках держит перед собой и терпеливо ждет, пока младенец почувствует себя лучше.

Пораженный картиной этого суверенного существования, я стою у обрыва, смотрю в сторону казино, которое кажется отсюда небольшим зданием, с блекло-зеленоватой крышей, и на мгновение начинает казаться, будто все богатство вокруг – достижение не этой гостеприимной зеленой кровли, а результат ядер и смелости карабинеров.

Вид отсюда на город восхитительный. На побережье это, пожалуй, самое интересное место. Природа и человек переплелись в тесном содружестве, дополнили друг друга там, где один из партнеров оказался бессильным. И угрюмые скалы вверху смягчены внизу узором строений, и теснота непрерывного города вознаграждена грандиозностью горных массивов. Все так чарует – даль итальянского берега, оперение туч, каменные разрывы в синеве моря.

Достаю записную книжку из кармана, хочу для памяти набросать несколько строк... И вижу – недалеко от меня, примостившись на парапете, сидит монегаск.

– Послушай... – шепчет приятель. – Спрячь книжку.

– Зачем?

– Как зачем? Разве не видишь – сыщик! Заметит, что пишешь, донесет... А потом доказывай, что ты не шпион!

*«Возрождение», Париж, 20 мая 1929, № 1448, с. 2.*

## На земле (Русские хозяйства. – Ванс. – В гостях у пчеловода)

Тяга на землю, наблюдающаяся среди русских людей во всех странах, не миновала и французской Ривьеры. Несколько лет назад, в этом отношении особенным вниманием пользовался у эмигрантов департамент Вар. Теперь же немало новых хозяйств начало возникать и в Приморских Альпах.

Как ни странно с первого взгляда, но лучше всего дела в этой области идут не у богатых людей, затративших сотни тысяч, а у средних хозяев, вложивших в предприятия десять, двадцать тысяч кровных трудовых сбережений. Чересчур состоятельные землевладельцы или арендаторы начинают работу с того, что покупают автомобиль, нанимают рабочих и обильно угощают обедами соседей-фермеров. В результате – автомобиль скачет взад и вперед в увеселительных прогулках, рабочие с утра до вечера курят, соседи фермеры изумляются, а куры дохнут, дохнут, дохнут, и цветы вянут.

Широкий размах в таких случаях достигает одной только цели: широко бьет по карману.

В районе Грасса есть несколько таких печальных русских хозяйств. В одном широко задумано куроводство, заведено около пяти тысяч кур... Но куры, точно сговорившись, настойчиво не желают оправдывать возложенных на них надежд, и, назло хозяину, гибнут целыми сотнями.

А на другой ферме, по соседству, разыгрывается трогательная трагикомедия. Муж с женой завели козу, кур, разводят цветы... И каждый день переживают тяжкие минуты разочарования.

– Мишенька! Что ж это такое? В руководстве сказано, что цыплята появятся на двадцать первый день, а уже два часа лишних прошло, и цыплят нет!

– Ну, что ж. Гони, в таком случае курицу с яиц. Сделаем для гостей яичницу.

Или выйдет утром Марья Ивановна покормить козочку, а около козочки вертится какое-то новое существо.

– Смотри, Миша: собачка прибилудилась.

– Какая же это собачка, Маня? По-моему, кролик.

Вызванный к месту происшествия, в качестве эксперта, сосед-итальянец, мрачно объявляет, что у козы родился козленочек, и советует, согласно местным обычаям, вспрыснуть рождение бутылкой вина. Чем лучше вино, тем больше вероятности, что вслед за первым младенцем появится второй.

Обрадованные хозяева добывают вино, ставят бутылки на стол, бегают, наливают вино итальянцу. А сосед хлещет вино, выпивает одну бутылку, другую, третью. Тяжело покачиваясь, идет, наконец, к козе, компетентным взглядом окидывает ее корпус, обходит со всех сторон... И, наконец, изрекает:

– Нет, к сожалению, не будет больше. До будущего года. Аддио<sup>168</sup>!

Разумеется, осматривать такие хозяйства, где люди сидят на земле для развлечения, – пустая трата времени. Но, вот, мне дают адрес одного русского, успешно ведущего свое дело в районе Ванса... И я еду к нему.

Городок Ванс очень любопытен, как, впрочем, и все эти старинные городки и селения, разбросанные в горах побережья. Смотришь на строения Сен-Поля, Ванса, Туррег-сюр-Лу и удивляешься: как в этих ульях, прилепившихся к скалам, могут жить люди? Стена к стене, крыша к крыше; со стороны кажется, будто нарочно все это, чтобы усладить живописностью жадный взор американца-туриста. Узкие улочки между серых покосившихся стен, уже

<sup>168</sup> Прощайте (*итал.*).

несколько веков грозящих падением; театральные площади с вековыми каштанами, с резными урнами, из которых брызжет вода. И какие-то странные старухи, на каменных ступеньках, будто нарочно живущие, специально для кодака иностранцев.

И магазины, и лавчонки среди груд облупившихся стен – тоже в угоду туристам. Китайские чашечки, идущие как местное производство... Раскрашенные вазочки, горшочки, пепельницы, присланные из Парижа для экспорта в Англию, через Ванс, при помощи куковских автокаров, нагруженных наивными кукиными детьми...

Наш пчеловод живет в двух километрах от Ванса, где за 3000 фр. в год арендует участок земли размером около одного гектара. Здесь у него небольшой двухэтажный домик, виноградник, плантация роз и около шестидесяти ульев. Работает он сам, без наемных рук, и в этом, должно быть, одна из главных причин его успеха. Все заботливо расчищено, подрезано, вскопано... И по веселому гудению пчел чувствуется, что дело на верном пути.

– Хотите пройти на пчельник? – любезно предлагает хозяин.

– Нет, благодарю вас. Укусят.

За стаканом чая с прекрасным собственным медом, трудолюбивый соотечественник посвящает меня в условия работы в ванском районе. Оказывается, самое прибыльное дело здесь – оранжерейная культура цветов на срез. Имея четверть гектара и затратив около 25 тысяч франков на устройство оранжерей, можно получать доход, достаточный для существования одной семьи. Разведение цветов для продажи на парфюмерные фабрики тоже прибыльно, но требует уже больше земли, около гектара, чтобы прокормить семью. И такой же прожиточный минимум в пчеловодстве дают сто ульев, конечно, рамочных, общая стоимость которых равна приблизительно 25 тысячам франков.

Таким образом, небольшой сравнительно капитал от 20 до 30 тысяч дает возможность найти применение своим силам каждому, кто хочет работать. Однако пока русских хозяев здесь мало. Попытки моего соотечественника и его компаньона организовать тут русскую земледельческую колонию до сих пор, к сожалению, не имели успеха.

– Ну, а каково отношение к вам соседей-французов? – спрашиваю я.

– Очень хорошее. Скачала, правда относились недоверчиво; хозяин боялся, что я ему все деревья повырублю и всю землю повыворочу. А теперь все навстречу идут. Сосед даже свой участок в аренду предлагает. Ну, а кое-какие трудности в силу местных обычаев и взглядов, конечно, есть. Например, воробьев у них убивать воспрещается, так как воробьи считаются дичью, предметом охоты. Кроме того, у крестьян существует убеждение, будто, пчелы портят плоды фруктовых деревьев, хотя пчелы в этом ничуть не повинны, так как плоды портят исключительно осы.

– Ну, всего, всего хорошего, – дружески пожимая руку соотечественника, говорю на прощание я. – Желаю успеха в работе.

– Спасибо, – ласково отвечает хозяин. – Заезжайте при случае...

И мечтательно добавляет:

– Вот, скоро наступит июнь и повезу своих пчел в горы. Мы каждый год выезжаем с ними на дачу, на душистые лавандовые поля.

*«Возрождение», Париж, 22 мая 1929, № 1450, с. 2.*

## На пляже

Жара спадает. Раскаленные плиты Променад дез-Англе постепенно возвращает небу тепловые излишки. Мутные очертания гор жадно спускаются к воде далекими мысами. Море, серо-голубое, изнеможенное, устало подбирает аккорды прибоя, поднимая прозрачные ладони с белыми пальцами.

Широкий пляж, усеянный купающимися, напоминает поле сражения. Груды тел жутко разбросаны. Вот недвижимый толстяк, положивший живот свой неизвестно на что, лежит, раскинув руки. Какая-то амазонка, сраженная молодым человеком в черных трусиках, застыла на гравии в страшных конвульсиях. Мясистая дама в ярко зеленом купальном костюме свернулась в причудливый могильный курган, вокруг которого суетится осиротевший ребенок. А там, далее, бесчисленные руки и ноги, спины, шеи, загривки... Все свилось, сплелось в кренделя, булки, круассаны, недопеченные, перепеченные, вперемешку с сырым тестом, вывалившимся из формы наружу, благодаря обилию дрожжей.

А среди этой бесконечной груды несчастных, точно шакалы пробираются гарсоны с подносами в руках, бродят марокканцы с пестрыми коврами, скатертями, бусами, ожерельями... И из запекшихся уст лежащих вырываются хриплые предсмертные возгласы:

– Глас, с-иль ву пле!<sup>169</sup>

Выбрав сравнительно свободный участок пляжа, я осторожно спускаюсь вниз, чтобы подойти ближе к морю. Сколько лет не слышал родных звуков прибоя! Тихого шелеста камня, мягкого журчанья уходящих обратно струй...

– Сережка! Скажи ему! Морис! Лесс са!<sup>170</sup>

Сбоку несколько мальчуганов подкатили к морю гигантский мяч. Один хочет вскочить. Двое других шлепают по мячу руками, заставляют подпрыгнуть.

– Морис! Ва-т-ан!<sup>171</sup>

Огорченный Морис отходит, с завистью следит, как русские мальчишки завладели мячом. Сам Морис, конечно, ничего не может поделать: их пятеро. Но как бы он все-таки хотел быть русским мальчиком в Ницце! Так приятно чувствовать себя полным хозяином!

Мимо проходят бронзово-красные мужчины. Судя по коже, это индейцы, или, в лучшем случае, метисы. Однако, светлые волосы, глаза и, наконец, язык ясно указывают, что они англичане.

Очевидно, главная цель жизни этих джентльменов – загореть.

А мода на загар, действительно, свирепствует здесь всюду. Не только мужчина, даже женщина считается интересной только в том случае, если у нее на носу шелушится кожа, а ноги напоминают клешню вареного рака.

В жертву загару тут приносится все: и колотящееся в груди возмущенное сердце и вылезающие из орбит глаза, и махровый нос в лепестках, и, наконец, размягченный солнцем, готовый вскипеть, несчастный заброшенный мозг.

Задаешь себе при виде пляжа грустный вопрос:

– О, море, море... Кто тебя усеял этими телами?

И сразу догадываешься:

Она! Всесильная, всепобеждающая мода.

Проходящая огнем и мечем одну страну за другой, безжалостно хватаяющая население за ноги, за руки, за голову; стригущая, раздевающая, прессующая бока, грудь, превращающая

<sup>169</sup> Glace, s'il vous plaît – мороженое, пожалуйста (фр.).

<sup>170</sup> Laisse sa – оставьте его (фр.).

<sup>171</sup> Va t'en – убирайся (фр.).

белых в черных, женщин в мужчин, мужчин в женщин... И вот они, ее покорные подданные жгут себя на жаровне прибрежного гравия, бросаются в море, снова лежат, добровольно поджариваясь. И обалделые, ошалелые, уходят, наконец, наверх, мелькая коричневыми стволами ног, гордо обводя прохожим взглядом:

– Мы эфиопы!

Солнце зашло. Быстро пустеет берег, точно смыл человеческую гущу невидимый девятый вал. Море из серо-голубого становится радужным отражением неба. Бегут розовые, фиолетовые змейки. Румянится пена прибоя. Яркое оранжевое облако опрокинулось, разорвалось в воде на яркие полосы.

– Вера Степановна!

– Ну?

– Идите сюда. Здесь, кажется, чище.

– Воображаю. Не пляж, а Бог знает, что. На днях была с Лялей и все платье вымазала. Ягоды земляники кто-то оставил.

– Да, бывает. Я тоже вчера вымазал забытой губной помадой свои продолжения. Погдите, сгребу камни в сторону.

Они садятся. Начинает темнеть. По променаду яркой нитью протянулись огни. Старое казино, похожее на выставочный павильон, заиграло гирляндами лампочек. Море стало бесцветным, впереди пустота, нет границы воды и неба.

– Ну, что, были на днях в Монте-Карло?

– Да, играл. Но в ничью... А вот с Николаем Ивановичем беда. Проигрался на прошлой неделе в пух и прах. Встречаю его здесь, на Гамбетта, а он идет и на каждом углу, прежде повернуть, вытягивает в сторону левую руку. «Что с вами?» – спрашиваю. А он отвечает: «Увы! Это все, что после рулетки осталось от моего автомобиля».

Они смолкли. Занялись сентиментальным молчанием. Море по-прежнему невидимо: будто серый провал. Только с обеих сторон яркие вспышки – маяки у Кап-Ферра и Антиба...

А с променада, сверху, чьи-то детские голоса:

– Витька!

– Ау!

– Мама зовет! Чай пить!

*«Возрождение», Париж, 2 июня 1929, № 1461, с. 2.*

## Откуда все качества

Удивительными патриотами сделались эрдеки<sup>172</sup>.

Буквально шовинисты какие-то.

Раньше, до революции, нашей левой общественности никогда не приходило в голову заботиться о величии России или о целостности русского государства.

Наоборот. Не было для левых вождей большего удовольствия, чем, например, узнать о поражении русских войск на Дальнем Востоке.

Была даже в эту эпоху выработана превосходная радикальная формула: чем хуже, тем лучше.

А вот, теперь, когда нет Империи, а есть Триэсерия, и когда, вместо царей, во главе банда псарей – теперь от патриотизма Милюкова деваться некуда.

Не только теоретически негодует. Даже установил зоркое наблюдение за всеми границами СССР.

Как бы кто на целостность государства не покусился.

Мирный шведский король и тот не может спокойно приехать в Ревель. Сейчас же пылливо-контр-разведочный взгляд корреспондента «Последних Новостей». И тревожные рассуждения в передовых статьях:

– Не составляется ли против России общий фронт?

Бача-Сако<sup>173</sup>, например, гоняется по Афганистану за Амануллой. А эрдековские передовики – тут, как тут:

– Не захватят ли Кушку, во вред интересам России?

– Не отделят ли Бухару?

Даже сепаратистские движения в Малороссии и в Закавказье, для развития которых нынешние эрдеки не мало поработали в эпоху Империи, и те вызывают их негодование:

– К чему Украине самостоятельность, на которую мы ее сами толкали?

– Зачем Озургетской республике отделяться, когда нет генерала Думбадзе<sup>174</sup>?

Вот и теперь, в связи с китайско-советским конфликтом – еще не выяснились окончательно обстоятельства захвата дороги, еще не успели опомниться сами большевики, а эрдековский орган уже бьет тревогу, начинает сыпать шовинистическими фразами:

«Попираются интересы России!»

«На Россию налетела буря!»

«Посягательства на русскую территорию!»

«Угроза русскому могуществу!»

И ни одного намека на испытанную традиционную формулу: чем хуже, тем лучше...

Будто этой формулы никогда не было.

Будто бы она никогда не применялась к дальневосточным русским интересам.

Для нас, стоящих на национальной позиции, эта формула, в приложении к интересам России, всегда была омерзительной.

И тогда.

И теперь.

Но почему ей изменили эрдеки?

---

<sup>172</sup> Участники Республиканско-Демократического Объединения, основанного в 1924 г. при участии П. Н. Милюкова.

<sup>173</sup> Хабибулла Бача-и Сакао (Калакани) (1890–1929) – эмир Афганистана в 1929 г., руководивший восстанием против короля Афганистана Амануиллы-хана.

<sup>174</sup> Иван Антонович Думбадзе (1851–1916) – генерал-майор, ялтинский градоначальник. Участник экспедиции против повстанцев в т. н. Гурийской (Озургетской) республике.

В чем дело?

Мне, конечно, скажут, что все это делает честь нашей левой общественности. Скажут, что эрдекские вожди сильно выросли с 1904 года и за двадцать пять лет научились строго различать: где Россия, а где заграница.

Некоторые, пожалуй, дадут объяснение другое: что вожди левых, в отстаивании целостности русской территории, заботятся о будущем своем тщеславии.

Приятно, мол, быть президентами одной шестой части мировой суши.

А одной седьмой – уже не так...

Тщеславие это, как мне скажут, невинное, вполне допустимое. А для величия государства – даже полезное. Чем грандиознее суверенитет, тем грандиознее президент. Чем шире территория, тем значительнее аудитория.

Однако, лицам, хорошо знающим Милюкова, легко опровергнут обе приведенные гипотезы. Во-первых, совершенно не видно, чтобы Павел Николаевич со времени русско-японской войны вырос. Во-вторых, если бы Павлу Николаевичу гарантировали президентство только в одной Ростовско-Суздальской республике с условием отдать Псков и Новгород шведам, а хутора близ Диканьки полякам – он без размышления принял бы условия и переехал бы с рю Бюффо во Владимир на Клязьме.

Назначил бы Кулишера<sup>175</sup> и Мирского<sup>176</sup> думными боярами, Демидова<sup>177</sup> – митрополитом.

И благополучно устраивал бы «сидение великого президента со боярами о делах».

Таким образом, причина милюковского патриотизма вовсе не в возмужании взглядов и не в искренних заботах о целостности территории, а в чем-то другом.

В чем же?

Большевицкое агентство, сообщившее свои сведения о событиях на Дальнем Востоке, между прочим, упомянуло: «на манчжурской границе концентрируются белогвардейские отряды».

И вот это-то, я убежден, и заставило Павла Николаевича всполошиться.

Если бы большевики просто отдали Восточно-Китайскую дорогу японцам – дело другое. Милюков не взволновался бы.

Если бы, вместе с художественными ценностями, Сталин распорядился распродать с аукциона Бухару, Мурман, Забайкалье, Закавказье, Псков и Новгород – Павел Николаевич стерпел бы.

Но если где-нибудь на границах у советов возникают осложнения, а вслед за этим начинают концентрироваться белогвардейцы... Этого стерпеть невозможно.

Белогвардейцы ведь не иностранцы. Не удовольствуются Бухарой или Восточно-Китайской дорогой. Они попытаются сами прийти к Москве – будь это со стороны Китая или Афганистана...

И тогда не только пропала для честолюбия Павла Николаевича одна шестая часть мировой суши. Не видать ему, как своих ушей, даже Ростовско-Суздальской республики.

И вот почему вождь левой общественности в тревоге.

Вот почему он не вспоминает испытанной формулы: чем хуже, тем лучше.

---

<sup>175</sup> Александр Михайлович Кулишер (1890–1942) – публицист, правовед, общественный деятель. Приват-доцент Петербургского университета. В 1920-х гг. жил во Франции, был членом конституционно-демократической партии. Сотрудничал в милюковской газете «Последние новости» (Париж). После оккупации германскими войсками был арестован и отправлен в лагерь, где умер от истощения.

<sup>176</sup> Борис Мирский (настоящее имя Борис Сергеевич Миркин-Гецевич) (1892–1955) – юрист, публицист, историк права, масон. До революции работал приват-доцентом Петербургского университета, в 1920 г. эмигрировал в Париж. Писал книги, сотрудничал в различных газетах и журналах. В годы Второй мировой войны переехал в США.

<sup>177</sup> Игорь Платонович Демидов (1873–1946) – журналист и общественно-политический деятель, соратник П. Н. Милюкова, сотрудник и член редакции газеты «Последние новости».

Вот почему он и патриот, и шовинист, и империалист, и централист.

Вот почему, при каждом внешнем осложнении у советских псарей, он совершенно теряет аппетит.

Ведь власть над Россией могут захватить не иностранцы, не эсеры, не эрдеки, а белые!

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 19 июля 1929, № 1508, с. 3.*

## Накануне

Перед наступающим завтра высокоторжественным днем первого августа<sup>178</sup> хочется обратиться к европейской культурной публике с искренним приветствием от имени русской эмиграции и сказать от чистого сердца:

– С праздником, господа!

– Желаю всем полного успеха в наступающем революционном году!

– Чтобы вам самим и деткам вашим приятно жилось от окончательного сближения с советской Россией.

В сей торжественный день коминтерн собирается показать вам, мсье, джентльмены, герры, синьоры и панове, какая радость может охватить Старый Свет, если он целиком войдет в орбиту советских социальных республик.

И не уклоняйтесь, господа, от светлого социалистического праздника, а примите с радостью веяние нового мира, построенного на высших началах гуманности и справедливости.

Даже если кого-либо из вас и ударят кастетом.

Ибо что такое коренной зуб в сравнении с коренным переустройством социального бытия?

Мы, русские эмигранты, праздновать первое августа не намерены, так как отпраздновали вволю все социалистические праздники в свое время и на своей собственной родине.

Устали порядком. И времени свободного нет.

Да и праздники подобного рода, когда их испытываешь ежедневно, и днем, и вечером, и ранним утром, и поздней ночью, и притом не день и не два, а подряд несколько месяцев или несколько лет, уже теряют прелесть, превращаясь в серые будни.

Но вам, джентльмены, синьоры, панове, один день в году посвятить на коммунистическое веселие не лишне. Никакая торговая связь, никакая дипломатическая дружба не дадут такой интимности в связи, не сблизят так с новыми социальными формами, как общее торжество, сметающее условные границы народов.

Нужно же вам увидеть, к какому светлому будущему стремится коммунист, когда его выпускают на улицу.

И позволяют устремляться в любую светлую сторону, без различия дверей и витрин.

Необходимо почувствовать, хотя бы в праздничном претворении, сладость общего обладания подвижностью, счастье падения перегородок отделяющих кассиров от публики.

Коминтерн знает, что вы страдаете излишней теоретичностью в этих вопросах. Ему известно, как бледна и худосочна ваша симпатия, благодаря отсутствию живых впечатлений.

Он понимает, что нельзя испытывать блаженства любви на расстоянии тысячи верст.

И вот вы имеете возможность восполнить пробел во всех странах, где парламенты успели взрастить своих Керенских.

Будем надеяться, что хоть один день вы потанцуете на коммунистическом празднике.

Будем верить, что ощутите вы не далекое, а самое близкое дыхание новейшей Дульцинеи, этой прекраснейшей из фамм де менаж.

А кому следовало бы пожелать особого счастья в день коммунистического нового года, – это отдельным буржуазным поклонникам союза советских республик.

Хорошо, если бы у Леона Блюма на фабрике коммунисты разделили между собой все ленты и пошли бы по городу нарядные, разукрашенные, как тореадоры.

---

<sup>178</sup> Первое августа 1929 г. европейские и советские коммунисты проводили «Международный красный день борьбы против империалистической войны», учрежденный на 4-м конгрессе Коминтерна в 1928 г. и приуроченный к годовщине начала (для России) Первой мировой войны.

Чтобы хоть раз в году Блюм испытал радость справедливого распределения ценностей.

И мэру пригорода Клиши тоже желаем, чтобы во всех домах его явочным порядком поселились коммунисты, заняв всю жилплощадь и выбрав собственных домкомов.

И в германском Рейхстаге, хотя бы на один только день, пусть появится матрос Железняк.

Чтобы еще раз, после первого мая, почувствовали немцы, как закадычные друзья умеют хватать за кадык.

И английским экскурсантам не мешало бы, чтобы по дороге в СССР попали они под коммунистическое торжество где-нибудь на чужой улице, не зная расположения боковых переулков.

И, наконец, пожелаем от всего сердца блестящему английскому саморекламисту Бернарду Шоу, чтобы осуществилась, наконец, мечта его увидеть обновленную Европу. Чтобы из квартиры его вынесли всю мебель, все коллекции, несгораемый шкаф. А библиотеку разобрали бы по рукам, и читали бы и помнили, какой просвещенный человек собирал ее для хозяйственных нужд пролетариата.

Итак, с праздничком, господа.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 31 июля 1929, № 1520, с. 3.*

## Конфор-модерн

Помимо различных разделений на партии, группировки, объединения, епархии и землячества, русские парижане распадаются еще на две резко очерченные группы:

На чистых горожан, проживающих в черте города и презирающих глухую провинцию.

И на дачников, живущих в банлье, за чертой, и презирающих в свою очередь городской шум и сутолоку.

Хотя эти две мощные группы до сих пор не выбрали своих председателей, не имеют правлений и не вступают даже во взаимную полемику на страницах газет, тем не менее представителей обеих групп не трудно различить по некоторым признакам.

Провинциал обыкновенно приезжает в Париж с зонтиком. Даже в хорошую погоду. Затем, если вчера был дождь, башмаки у него обязательно испачканы, хотя в Париже сухо и чисто. Наконец, поздно вечером, на заседании каком-нибудь или на благотворительном вечере, провинциала всегда легко узнать по карманным часам, на которые он поминутно поглядывает, а иногда даже прикладывает к уху.

Коли концерт, например, затянулся и лучшие певицы оставлены на конец программы, подобные певцы никогда не имеют у провинциалов успеха.

Наоборот, каждое биссирование номера раздражает. Каждое фермато<sup>179</sup> тревожит. А продолжительных аплодисментов со стороны этих слушателей ни один самый замечательный артист не добьется.

Парижане неистовствуют, ревут, хлопают. Овации продолжаются минуты две-три.

А провинциал хмурится, нервничает. Не вытерпев, наконец, вскакивает:

– Довольно! Тсс! С ума сошли, что ли?

Да и действительно. Очень нужно какое-то там «Не уходи, побудь со мною», если последний поезд уходит ровно без четверти час.

Однако, если чистого провинциала легко можно узнать в городе по его своеобразным замашкам, то не менее легко распознать чистого горожанина, когда он заберется в дальнюю местность и начнет искать квартиру добрых знакомых.

В этом случае на человека жутко смотреть. До того он беспомощен.

Хотя в руках и чертеж со всеми необходимыми улицами, и адрес четко написан, и дом обозначен двумя или тремя крестиками – все равно. Местные прохожие – люди как люди. А парижанин, точно ребенок, потерявший папу и маму.

Идет посредине дороги, неуверенно опираясь на ноги, беспомощно оглядывается по сторонам, будто недавно появился на свет. И что-то грустно шепчет. Заговаривается.

А зимой, в темный дождливый вечер, нет ничего печальнее, чем вид такого бесприютного скитальца в глухом переулке.

Калитки заперты. Ставни прикрыты. У ограды хрипло лают собаки.

А он, как тень, одиноко бродит среди заборов, шлепает ногами по лужам, останавливается у каждых ворот, жжет мгновенно затухающие спички, вытягивается во весь рост, чтобы увидеть номер. И время от времени слышится во мраке его жалобный голос:

– Иван Федорович! Где вы?

Мне скажут, должно быть, – вот Вы сами провинциал, живете в банлье... И даже из вашего описания явствует, что жить в Париже гораздо удобнее. Светло, чисто, не надо думать о поездах.

Это-то так. Верно. Но все-таки...

---

<sup>179</sup> Правильно: фермата; *fermata* – остановка, задержка (*итал.*), знак музыкальной нотации, предписывающий исполнителю увеличить по своему усмотрению длительность ноты.

Был я, например, на днях в гостях у парижских знакомых. Дом у них, действительно, гораздо лучше нашей скромной загородной дачки. Два колоссальных корпуса, четыреста квартир, расположенных по обе стороны двора и населенных, главным образом, русскими. Свету много, чистота удивительная, комфорт самый модерн...

Ну, а по делу нельзя поговорить. Совершенно немислимо.

Сидим у открытого окна, начинаем излагать друг другу сущность вопроса. А из окон и с балконов четырехсот квартир несутся звуки оживленной городской жизни.

– Хорошо, а как же Коренчевскому удастся объединить эмиграцию на деловой почве? – громко спрашиваю я собеседника.

– Нашлепать его нужно, вот что! – слышу в ответ решительный женский голос, хотя мой собеседник мужчина.

– Кого нашлепать? – удивленно повышаю я голос. – Коренчевского?

– Да это не я! – кричит хозяин, приставив ко рту ладонь, сложенную трубкой. – Это соседка!

– Я бы такого сына каждый день порол! – восклицает рядом невидимый мужской голос. – Ему Елена Ивановна говорит снизу, что нехорошо корки бросать, а он на нее сверху плюет.

– Сюзанн, вьен-з-иси<sup>180</sup>.

– Расскажите вы ей, цветы мои! – начинает заливаться где-то зловещее контральто.

– Наталья Михайловна! А Наталья Михайловна!

– Это вы, Никита?

– Это я, Наталья-Михайловна!

– Как ее я люблю! – неистово продолжает Зибель.

– Скажите Марии Степановне, чтобы к Бакуниным шла. Работа есть.

– Кого любите? Цветы?

– Работа есть говорю! Для Марии Степановны!

– Морис, тю а ресю ожурд-юи тэ гаж. Донн муа анкор ен не д-аржен<sup>181</sup>.

– О, ла-ла!

– Марья Степановна! Бакунины просили зайти. Работа есть.

– Не могу я идти. У меня и так работы по горло.

– А я бы не только порол. Я бы в исправительное отделение отдал.

– Ну, да. Еще чего не доставало. Шура! Шуу-ра!

– А?

– Иди домой!

– Еще рано!

– Шуу-рка! Я тебе говорю! Сию минуту!

– Все равно, политического момента вы никак не исключите, – придвинув стул, кричит мне на ухо собеседник. – Бытовая сторона, так или иначе, при практическом осуществлении столкнется...

– Не слышу! С автобусом?

– Нет, я говорю... Модусом... Понимаете? Политическая сторона при практическом осуществлении...

– Что? Бакунина?

Собеседник машет рукой, отодвигается. За окном гул и крики усиливаются. Зибель окончился, начался «Бедный конь в поле пал». В ответ на возглас «отоприте» раздалась сначала крики «закройте окно!», затем где-то завели граммофон. Вслед за граммофоном четыре-

---

<sup>180</sup> Viens ici – идите сюда (*фр.*).

<sup>181</sup> Tu as reçu aujourd'hui te gage. Donnes moi encore un n'argent. – Ты получил сегодня залог. Дай мне еще денег. (*фр.*).

пять радио. Послышался свист. Смех. «Довольно!» «Ассе!» Собаки где-то завывли. Заплакали дети...

– Ну, мне пора! – взглянув на часы, закричал я. – Поезд скоро отходит!

– Несчастный! – слышался в ответ иронический вопль хозяина. – Опять поезд? Провинциал!

– Опоздал? Нет, не опоздал. До свиданья!

– Отоприте!

\* \* \*

О милое мое банлье! Неужели же я променяю когда-нибудь тебя на конфор<sup>182</sup>, даже на-модерн?

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 4 августа 1929, № 1524, с. 3.*

---

<sup>182</sup> Confort – комфорт, уют (фр.).

## Памяти Мулен-Руж

С душевным прискорбием узнал я от родных и знакомых, что в Париже закрылся знаменитый Мулен-Руж.

Хотя Мулен-Руж мне несколько не нужен, и был-то я в нем за всю свою жизнь всего один только раз, совершенно случайно (приезжали как-то из Америки родственники и потребовали, чтобы я, в качестве старожила, показал им достопримечательности Парижа), однако все-таки тяжело на душе.

Как будто что-то близкое оторвалось, покатилося и потерялось. Вроде пуговицы.

Знаешь, что, в сущности, грустить нечего, что вместо Мулен-Руж есть еще всякие Казино и Фоли-Увриер или Бержер, но неприятное чувство не исчезает.

Был мюзик-холл, и нет мюзик-холла. Ходили вниз и вверх по бутафорским лестницам около ста талантливо раздетых женщин с огромными перьями на голове... И вот не ходят теперь талантливые женщины по лестницам, не качаются перья и не ревет музыка.

Обидно.

Привыкнув к Парижу, я вообще очень чутко отношусь теперь к многогранной жизни блестящей мировой столицы с ее увеселениями, музеями и замечательными памятниками прошлого.

Правда, из всех музеев я был только в Лувре, да и то один раз, да и то очень недолго (приехали из Ниццы родственники и спешно потребовали, чтобы я, в качестве старожила, показал им Венеру Милосскую).

Однако, попробуйте навсегда закрыть Лувр. Что со мной будет!

Музея Клюни я совсем не видел. Проходил несколько раз мимо, но внутрь не заходил. Родственники уехали.

Однако, с какой любовью смотрю я на него, проходя! И как он мне близок!

Пантеон тоже видел я только снаружи, главным образом, одну сторону, так как с бульвара Сен-Мишель других сторон заметить не удалось.

Но можно представить, какой протест поднялся бы с моей стороны, если бы Пантеон, вдруг, превратили в Одеон! (В Одеоне я тоже не был).

В общем, если не считать дворец Инвалидов, который мне хорошо известен с точки зрения трамвая № 43, и Же-де-Пом, мимо которого приходится проезжать каждый день на автобусе AZ, то, в сущности, парижской стариной я пользуюсь мало. Между тем, заставьте меня переехать навсегда в Капбретон какой-нибудь или в Бурулис. Запретите мне в административном порядке въезд в Париж. И я знаю, что без музеев сразу же начну задыхаться и опускаться.

Точно так же обстоит дело и с парижскими зрелищами. В Мулен-Руж я как раз был. Но, вот, в Большую Оперу до сих пор не попал. В Опера-Комик – тоже. В Комеди Франсез, в «Сара-Бернар», в Шатле очень хотел пойти, но не вышло.

Причин, по которым не пришлось, например, побывать в Большой Опере – много. Во-первых, неувязка с костюмом. Пока закажешь, глядишь – сезон кончился. А сезон начался, глядишь – костюм уже потерял свежесть. Затем билеты. Наверху, под небесами, сидеть не по возрасту; а вниз – по возрасту, но не по средствам.

Иногда задерживают и другие причины. Очень часто есть полная возможность отправиться в театр. Но только рано утром, когда спектакля нет. Или наоборот. Урвешь время вечером, подготовишься, а тут – повестка на обед Первой Тифлисской гимназии или объявление в газете о спектакле Д. Н. Кировой<sup>183</sup>.

---

<sup>183</sup> Дина (Евдокия) Никитична Кирова (1886–1982) – актриса Суворинского Малого театра в Петербурге, эмигрировала в 1920 г. в Сербию, затем переехала в Париж, где в конце 1920-х гг. вместе с мужем, офицером Белой армии князем Ф. Н.

Поневоле идешь к своим. Хотя не раз бывал, всех знаешь, но как-то уютнее и проще. Известно, где вход, где вешалка; кроме того, все друг с другом знакомы.

Итак, не буду хвастать: ни одного парижского зрелища, кроме ревью в Мулен-Руж, мне не удалось повидать. Но опять-таки... Сошлите меня в Бурбуль какой-нибудь или в Сен-Мишель-сюр-Орж без права въезда в Париж. И вы увидите какая начнется тоска по Большой Опере, по Опера-Комик, по Одеону, по «Сара Бернар»...

Не ручаюсь, даже, что не поступаю в этом случае преступно и не нарушу постановления властей. Тайно, быть может, приеду в Париж, загримированный, с накладной бородой, брошусь сначала в Клюни, затем внутрь Пантеона, побываю у гробницы Наполеона, посмотрю помещение «игры в мяч», а вечером, придерживая бороду, с наслаждением развалюсь в кресле зрительного зала Комеди Франсез.

Однако, пока меня не высылают, пока в России не предвидится близких перемен и пока никуда уезжать не надо, к чему торопиться? Главное, ведь, – не ходить и не бывать, а сознавать, что можешь пойти. Музеи, памятники и зрелища испускают вокруг себя такие мистические излучения, что ими можно пользоваться прямо на улице...

И, вот, почему, близко к сердцу я принимаю все, даже закрытие Мулен-Руж. Тем более, что в Мулен Руже я все-таки бывал, так как однажды приезжали из Америки родственники, которые потребовали, чтобы я, в качестве старожила, показал им все парижские достопримечательности.

*«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 17 сентября 1929, № 1568, с. 2.*

## **Ежевика**

Если кто-либо из парижан хочет сварить варенье из даровых ягод, могу рекомендовать способ:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.